

Андрей Десницкий

ОСТРОВИТЯНЕ



Annotation

Место действия — маленький остров на Адриатическом море, время действия — последние двадцать веков. Истории обитателей римской виллы, где расследуется дело о неожиданной краже, переплетаются с историями совсем других людей, которые будут жить в этих краях в разные времена. А главный герой—христианство во всем многообразии его форм, с его сложной и порой неоднозначной историей... Автор книги Андрей Десницкий — известный российский филолог, специалист по Библии, доктор наук и профессор РАН.

- [Андрей Десницкий](#)
 -
 - [Двое](#)
 - [Кольцо. История Филолога](#)
 - [Торговцы](#)
 - [Дом. История Лазаря](#)
 - [Варвары](#)
 - [Озеро. История Марка](#)
 - [Соратники](#)
 - [Жаровня. История Луция](#)
 - [Единобожники](#)
 - [Травы. История Шуламит](#)
 - [Почитатели](#)
 - [Песнь. История Алексомена](#)
 - [Грамотеи](#)
 - [Таинство. История спутницы](#)
 - [Мальчишки](#)
 - [Погружение. История Дака](#)
 - [Охранители](#)
 - [Спор. История Симона](#)
 - [Активистки](#)
 - [Утро. История Рыбки](#)
 - [Любовники](#)
 - [Столб. История прощения](#)
 - [Созидатели](#)
 - [Спутница. История утраты](#)
 -

Андрей Десницкий

ОСТРОВИТЯНЕ

Повесть о христианстве

Вы скачали эту книгу бесплатно, читайте на здоровье. Но автору хотелось бы получить от вас некоторую сумму в знак благодарности. Форма для перевода находится на сайте автора desnitsky.ru. desnitsky.ru Можно также воспользоваться Яндекс-кошельком, счет 410012750620442.

Адриатика вечно пахнет ветром и травами, солью и солнцем. Ранней осенью запах ее становится мягче и глуше, все меньше солнца, все больше ветра. Дожди, пока они легкие и теплые, играют в догонялки, день отступает раньше, и горы синеют глубже, но море еще готово дарить рассеянное тепло тем, кто не был в августе жаден. И если есть на Земле край прекрасней Южной Далмации — значит, нам его еще не показали.

После промокшей ночи глянуло почти летнее солнце, и безветренным утром туманы, как непроснувшиеся облака, плыли по водной глади и медленно таяли. И значит, можно было гулять и вдыхать незабываемый запах, запасаясь на всю долгую стылую зиму, притаившуюся по обоим берегам слишком большого океана. По берегу шли двое, он и она — вечный сюжет! — и слишком близко сходились их ладони, жесты, интонации для тех, кто уже не вместе. И слишком далеко для тех, кто вместе быть еще может.

Ему за сорок. Темные, слегка седеющие на висках кудри, профиль как у античной статуи — о таком сразу скажешь «основательный и надежный». Она чуть помладше, или просто ведет себя по-девчачьи — светловолосая, сероглазая, остроносая, с резкими и легкими повадками. Отлично, казалось, дополняют друг друга.

— Как же все-таки здорово, что ты вытащил меня сюда! Даже лучше, чем летом. Спокойней и тише.

— Мы слишком привыкли к континентам, — ответил он невпопад, — они огромные и грозные.

— А здесь маленькая уютная жизнь, — кивнула она, — вот почему мои славянские предки пошли на север и восток, а не сюда? Жили бы мы сейчас здесь.

— Вряд ли бы мы вообще жили, — усмехнулся он. — Ты еще про своих еврейских спроси. Здесь ведь последние веков тридцать война... Говорят, по-турецки «бал» — это мед, а «кан» — это кровь. Балканы, выходит, — край, текущий кровью и медом.

— Да?

Все тот же задорный ее голос, будто бы снова школьные каникулы, или лучше: будто снова сбежала она с уроков. И мыслью опять явно не в этом, не в нынешнем. Вся серьезная их жизнь была друг другу пересказана еще накануне, да и не такой уж она была интересной. Семьи и дети, работы-зарплаты, страховки и страхи — все это казалось сейчас такой ерундой.

А она, с первой минуты — в той золотиистой Москве выпускного класса, когда он встречал ее как будто по дороге в школу — и шли болтать и дурачиться в Нескучный, осыпать друг друга свежееопавшей листвой, фоткаться в осени и целоваться, целоваться... Но — не более. Так здорово быть просто влюбленной

школьницей, когда все возможно, и ничего еще не решено — как там, за пределами Нескучного, где буянили девяностые, где расцветало сто цветов и увядало девяносто девять. В том числе — их влюбленность.

А он — в осторожном будущем. Он ведь теперь женат, она тоже, кажется, не одна. На что теперь можно решиться? И зачем он вообще вытащил ее сюда: повспоминать о прошлом? Или просто обняться напоследок, — по скайпу не получится, — и понять, что дальше жить можно и на расстоянии океана, телефонного звонка, общей памяти о том, что они себе тогда придумали? Да, пожалуй.

А Остров? Он был здесь и сейчас, только он один, как и водится с островами. Невелик, но закручен холмами и заливами так, что пешеходная тропа за каждым поворотом открывала новый вид. Только что по левую руку была темная синь открытого моря — и вот она сменилась яркой голубизной, словно не через вершину холма перебрались, а в другое место попали.

Так что им проще говорить про Остров, чем друг про друга. Сломать пополам, и через годы сложить, чтоб совпали половинки — так можно поступать только с мертвым. Живое — оно зарастает. И случайный прохожий с пластиковым пакетом из ближнего магазина, и девочка, лениво крутившая педали велосипеда, — все эти обрывки чужой и неясной жизни были им проще и понятней себя самих.

Небо подернулось легкими облачками без малейшей угрозы дождя, и буйство красок в одних местах приглушалось облачной тенью, а в других — горело ярче. И так было радостно сознать, что в Москве сейчас — три градуса тепла, дождь и свинцовые тучи, и даже в Сиэтле не сильно лучше, а им двоим на три дня дали немного лета.

— Смотри! — он дарил ей кусочек мира, — так только здесь бывает. Остров на море, озеро на острове. А на озере — еще один островок. Видишь?

— А на островке — церковь, — продолжила она. — А могли бы построить беседку. Или просто цветник. Почему вы всегда в центр ставите церковь?

— Кто это «мы»? — он немного опешил.

— Вы, успешные, волевые, верующие мужчины. Вы можете гулять с девочкой, можете вкалывать и писать с утра до ночи свой программный код, — да, я знаю, я знаю, это творчество и вдохновение, — но почему вы в центр своей и нашей жизни всегда ставите что-то другое? Разве вам не достаточно просто дома и сада?

И это было уже не про Остров. Но надо же было с чего-то начать.

— Потому что это — главное, — спокойно ответил он.

— А я тогда хотела, чтобы главной у тебя была я.

— Но мы же вместе...

Она не ответила. Взяла бутылку и пила плавно, запрокинув голову, и отросшие за московский сентябрь волосы рассыпались по плечам, а потом сказала:

— К рекам воды живой.

— Что?

— Мы приходили к рекам воды живой. Вместе. А потом — бац, оказалось, это контора по ритуальному обслуживанию населения. Еще по идеологическому воспитанию. Советы когда-то запрещали рок-оперу про Христа, потому что поповщина, а эти теперь запрещают, потому что поповщины мало. Потому что не в их интерпретации.

— А ваш театр?

— Нас пока не тронули, — усмехнулась она, — ждем-с.

Остров меж тем просто жил. Неподалеку, на берегу внутреннего озера, удили рыбу двое подростков, и рядом с ними сидел шикарный серый котяра — ожидал, пока угостят, а может, просто общался по-своему. А она все продолжала говорить с холодной и ясной яростью, словно и не замечая ничего вокруг:

— Сразу же было видно — им всем, от старушки-свечницы до вашего этого «священноначалия», им же нужна власть над каждым из нас. Полная и беспредельная. Якобы от имени Бога.

— И отцу Симеону?

И это уже из другой, совсем другой осени. Маленькая церквушка в деревне за тридевять верст отовсюду, привычные бабушки и растерянные столичные интеллигенты, и они, двое влюбленных дураков, которым не терпится узнать Самое Главное и жизнь свою наперед высмотреть до доньшка. И он, седой и спокойный, ничего не рассказывает им и никуда не торопится. Слушает, молчит, улыбается, и главное — не торопится. Они веруют жадно, захлеб, большими глотками, словно студеную воду из колодца пьют — так, что зубы ломит, и больного горла на утро не миновать. А он улыбается, настоящий.

Она кивнула:

— Да, настоящий. Слушай, ну он — исключение. Он баг, а другие фича^[1]. Их главный принцип — всегда говорить от имени Бога и не признавать своих ошибок. И все это ласково поначалу, как будто любят. А потом ты и шагу не можешь без них. Сама себя опутала мелочными страхами, дурацкой этой робостью. Чувством вины. Неизбывным. Вяжущим. Мертвящим. А я сама хочу решать, с кем мне спать и что мне есть. Не нужна мне ролевка про святое средневековье. И знаешь, попробовала без нее — понравилось.

— Мы просто были тогда влюблены, — он говорил с трудом, как будто обязан был ответить, — друг в друга и в церковь. Не видели теней: кликушества, невежества... Потом повзрослели. Влюбленность прошла.

— Да откуда ты знаешь, прошла ли... — ворчала она, не сдаваясь.

Кот и рыбаки остались у них за спиной. Ничем не примечательные мальчишки, кот, рыбки в озере — какие всегда были и будут на этом острове. Как влюбленности, как расставания и встречи. А он ведь теперь женат. Ему нельзя, чтобы влюбленности не проходили.

— Помнишь этот вечер на Валдае? Все эти беседы полночь-за полночь, вечерня в часовне, грибы на сковородке, настой травяного чая? — продолжала она.

— Хорошо же было...

— Не то слово хорошо. Я вдруг стала всем своя, во все вписалась. Говорила правильные вещи правильным языком. И вы, правда, любили меня — такую. И будущее — видно его до доньшка в прозрачной воде: замуж по благословению батюшки, много деточек, иконочки, постные пирожки. Добровольная старость с двадцати лет и до гроба. Отсечение воли с мозгами заодно. Зато вы будете меня любить такую. А я себя — нет.

— И ты сбежала в Питер?

— В Новгород я тогда сбежала. А потом в Крым... или нет, сначала все-таки в Питер из Новгорода. Неважно. Испугалась. Захотелось снова стать собой. И в электричке читала Евангелие, знаешь, просто вот чтоб убедиться — оно не про иконочки, не про часовенки, оно про свободу. Ну и стала выплывать понемногу. Вот с того самого вечера на Валдае выплывать. Ох, и долго было — со дна подниматься.

— Понятно... А я ждал тебя. Искал потом.

Как рассказать ей, что в валдайский тот рай он теперь возвращается во снах — правда, все реже и реже, и все меньше похожи эти сны на прошлое их счастье с распахнутым небом, солнечными соснами, плеском воды под веслом и ясным, правильным будущим, которое — не сбылось? Все больше эти сны — о пропаже. О ней, какой она так и не стала.

— Меня — той, валдайской, — вообще никогда не было. Мы ее выдумали.

И добавила:

— А ты — вот да. Ты там был настоящий. Ты и сейчас, небось, такой. Вот сегодня же пятница?

— А что? — удивленно отозвался он.

— Пятница. Постный день. И ты поэтому на обед осьминога заказал? Осьминога, а не барашка?

— Да нет, ну что ты, — рассмеялся он, — просто здесь волшебное делают осьминогов под сачем. Такой металлический купол, знаешь? И под ним запекают, медленно и печально — для осьминога печально, а нам — пальчики оближешь.

— Но ведь все равно подумал, признайся: как кстати и постный день!

Он не сразу ответил, но улыбнулся. Дерзкая школьница — вот куда она сумела вернуться. А дерзким школьницам положено говорить взрослым нахальную правду. Частичку ее.

— Вот ты о плохом. Есть. Да. Я бы назвал тебе имена настоящих святых. Но они тебе ничего не скажут.

— Потому что система их прожевала и выплюнула, так?

— Да, нередко. Но иного и не обещали в Евангелии, ты же помнишь?

— Там обещали — свободу. От чувства вины, от зашоренности, зацикленности на мелочных правилах. А у вас все опять...

— Да... — Он то ли закашлялся, то ли осекся. — То есть люди этого сами ищут. Спрос — предложение, помнишь? И может быть, церковь нужна, чтобы за ритуальными мелочами люди иногда вспоминали главное? Чтобы не совсем оскотинились?

Он еще помолчал, пожевал орехов. Не то чтобы искал ответ — скорее, колебался, услышит ли.

— Знаешь, это как в браке. Вот бывает ли без грязной посуды, пеленок, ремонтов, проблем? Разочарований и привыканий? Серых унылых дней, когда вы друг другу надоели? Медовый месяц навсегда? Я храню верность церкви. Как супруге. Даже когда она не во всем права — я храню верность.

— Ладно. — Она встала с камня резко, подводя как бы итог. — Семейного очага у нас с тобой не вышло. Но у нас выйдет отличный обед, правда? С осьминогами! Пошли! И спасибо за экскурсию!

Остров лежал на водах, такой же теплый и прекрасный, но теперь у дороги была ясная цель — с утра заказанный обед — их глаза высматривали удобную тропу, а не адриатическое буйство. А еще было общее прошлое, и половинки никак не срастались, даже в воспоминаниях.

И кажется, позови она — забудутся и прошлый разрыв, и клятва верности другой, и вообще все-все-все. Только позови. Но она не позовет. Зато осьминогов даже и в пост можно.

Навстречу им важно вышла одинокая коза. Настороженно пригляделась, приняхалась, развернулась и дала деру, размахивая выменем. Видно, чужие ей на этой тропе попадались редко.

Он заговорил снова где-то на полпути до подножия, где томила под металлическим куполом осьминожья плоть и остывали бутылки с боснийской жилавкой и далматинским пошипом. И даже как будто закончен был главный разговор, но все это жило в нем, мучительно и явно. И кто, как не она, мог его услышать?

— И еще в России, ты права, православие привычно прислонилось к государству — не отдерешь. Да и не хочет никто отдирать.

— И что предлагаешь? — спросила она беззаботно. Вот кажется, повернись он к ней лицом, заговори о ней, а не о своем заумном — и все бы снова стало как в Нескучном, с неопытными губами и с ненасытным восторгом в еще детских глазах. Минут на пять... а там — как фишка ляжет. Но он ведь не повернется, он — о своем...

— Нам однажды придется пересматривать, возвращаться к чему-то раннему... Помнишь, нас тогда очень удивили эти слова: «христианство только начинается»? Две тысячи лет, какая ж тут первая попытка? А теперь понимаю. Слишком высокая задача — и мы едва приступили к решению.

— Слу-ушай, — протянула она, — ну что все эти тысячелетия? Зачем они мне, тебе, нам? Может, просто жить, самим решать? Этот груз — к чему тащить?

— А это не груз, — неожиданно быстро и радостно ответил он, — это дорога. Проверенный путь.

— А не хочу по чужим следам! — выдохнула она, тряхнув по-девчоночьи челкой, — хочу сама!

И резким шагом сошла с тропы, в это буйство мокрой зелени на осыпчатом каменистом склоне.

— Да ты... — ему бы следом за ней, удержать или подстраховать, но пока ведь ничего опасного, — смотри, уколешься, тут ежевики полно...

Он не успел договорить. Земля под ее кроссовкой поехала вниз, и не за что было схватиться, да и правда ведь ежевика — и она, нелепо размахивая руками, стала то ли сползать, то ли сбегать по нехоженому склону, а он стоял сверху и не спешил бросаться за ней:

— За камень! За камень тот зацепись!

Она и сама видела здоровый валун, пятками проскользнула мимо, но рукой ухватилась — выворотила камень из земляного гнезда, но смогла остановиться.

— Цела?!

— Да вроде...

— Сейчас спущусь!

— За потерянной овцой, ага... погоди, встану.

Он уже спускался маленькими шажками, осторожней, чем было надо, и бормотал себе под нос, что вот веревки нет, и что дурная девчонка, и вообще...

Ладони она себе все-таки расцарапала до бисерной крови, да и бок саднил. И чтобы встать, пришлось опереться правой рукой за вывороченный валун. А левая сама как-то легла в земляную его ложбинку, в эту склизкую, плесневелую землю, где и сколопендру можно было ждать, и гадюку. Но гадюк не было. Было что-то маленькое и твердое, прямо в центре ладони, не похожее ни на корень, ни на камень:

— Подожди... тут...

И когда он к ней спустился, на левой ладони лежала находка. Грязь легко отколупывалась с тусклого желтого металла, и через минуту они, балансируя на зыбком склоне, смотрели на кольцо с квадратной печаткой, — а с печатки глядел на них лик девушки, не сточенный веками и не заржавевший от дождей.

Золото ведь не боится ни воды, ни ветра — ому стоит опасаться только человека.

— Вот видишь, как иногда полезно сходить с тропы и падать. — Голос ее звучал задорно и победно.

— У тебя кровь.

— Да ерунда, ничего не сломала, царапины пластырем залепим. Смотри! Очень ведь старое, да?

— Да... кажется, древнее... — Он говорил со своей спутницей неуверенно, он не разбирался в таких вещах.

— Ему век? Или два? Или двадцать? А может быть, оно из тех самых времен, когда, ты говоришь, все пошло не так? Вот с этой римской виллы?

— Я не то имел в виду...

— То, не то... Римское кольцо. Только она нам ничего не скажет. Ни как она попала сюда, ни кто носил кольцо. Судя по размерам, мужское. А это была... это была его Спутница, да? Давай назовем ее так.

Он хотел было сказать, что когда-то она была его самой главной Спутницей, и горько, что пути разошлись, чтобы однажды на три дня пересечься на дальнем Острове посреди моря и неба. И что спутники слишком легко оказываются попутчиками, дороги — бездорожьем, падение — находкой, и что он знает о мире сейчас намного меньше, чем этим утром.

Но ответил только:

— Давай!

Кольцо. История Филолога

Адриатика вечно пахнет ветром и травами, солью и солнцем. И ранней осенью запах ее становится мягче и глуше. Гелиос^[2] торопится домой испытать подогретого вина, и розовоперстая Эос^[3] подает в старой серебряной чаше, смешав с обильной ночной росой. Борей и Нот^[4] в эту пору ровесники-дети, они играют в прятки, брызгаясь дождями, а нимфы морские готовы дарить рассеянное тепло тем, кто не был жажен до жара в новоназванный месяц Октавиана^[5]. И если создали боги край прекрасней Южной Далмации — они сокрыли его от нас на краю круга земель.

Он — римлянин слегка за тридцать с короткой стрижкой, волевыми стальными глазами и шрамом на левом предплечье — опустил правую кисть в осенние воды пролива, и Спутница смотрела теперь на него сквозь чуть уловимую лазурь. Золото ведь не боится ни воды, ни ветра — ему надо опасаться только человека. Но Спутница была с ним, на привычном месте, а он не привык к опаске перед людьми. А значит, и золоту нечего было страшиться.

— Ты так любишь свое кольцо, Марк, словно в нем сосредоточена вся слава Рима и вся твоя сила.

Никогда нельзя было понять, насмехается над ним этот кучерявый и бородатый грек старше его лет на десять или просто хочет его развлечь, чтобы скоротать время. Впрочем, пустого времени впереди у него много — пусть развлекает.

— Не так уж это и неверно, Филолог. Это кольцо имеют право носить только всадники. Свободнорожденные граждане Города.

— Я видел такие на пальцах у тех, чей отец был рабом. Может, и я когда-нибудь буду носить?

— После указа Тиберия^[6] не должно такого быть. Хотя чего только не увидишь при этом новом...

— Ты не договорил имени.

— И не договарю.

Вот уже скоро будет два года, как в Риме правит безраздельно Тит Флавий Веспасиан. А значит, на дворе осень того года, который будет потом носить номер семьдесят один с довольно странным добавлением «нашей эры». Но жители этой эры еще не знают, что она назовется нашей и что мы вообще обратим внимание на их незначительные судьбы.

Но мы обратили. А значит, надо вслушаться в их разговор, полный странных имен и лишних на первый взгляд деталей. Но наберемся терпения, чтобы проникнуться духом времени. Дальше будет и про войны, и обязательно про любовь, и будет даже что-то вроде детектива, а потом еще и еще про любовь... Но это дальше. А пока двое разговаривают обо всем подряд в ожидании лодки. Прислушаемся.

Итак, кучерявый собеседник спрашивает:

— А если бы императором в Риме год назад сел не Веспасиан, а этот ваш Вителлий^[7] — думаешь, богатые отбросы не стали бы покупать себе дорогих побрякушек?

— Если бы Вителлий сел в Риме, — отвечает Марк, — я бы остался на Рейне. Центурионом пятой когорты Четвертого Македонского, ты же знаешь. А где был бы ты, даже не интересно.

— А я бы по-прежнему восславлял мудрость божественного Августа, только Августа под другим именем. А он бы распустил какой-нибудь другой легион, где не спешили восславить его божественность.

— Четвертый Македонский никогда не выступал против Веспасиана. Мы верно служили Риму и бились с батавами^[8].

— Но недостаточно быстро сменили статуи и принесли жертвы. Кстати, говорят, новоизбранный Четвертый легион стоит где-то здесь неподалеку?

— Говорят.

Ну не объяснять же этому греку, что центурион настоящего Четвертого никогда не будет проситься в это жалкое подобие с лизоблюдским прозвищем «Флавиев»! О боги, «Четвертый Флавиев легион» — как не поглотила земля, как не испепелила молния того ручного воробушка, которого они, верно, сделали своим знаком вместо Орла!

— Нет и никогда не будет ничего выше и лучше Рима, которому я служу, как деда и прадеды до меня. Можно сменить жену, взять приемных детей и даже переменить своего бога, да не навлеку я на себя гнев вышних и нижних. Но невозможно ни на что променять Рим. Тебе этого не понять, грек.

— Гречишка. Graeculus. Я привык, я не обижаюсь, называй меня так.

— Еще б ты обиделся, рожденный от раба. Говори. Мне забавно тебя слушать — а лодка с Острова запаздывает, и надо чем-то занять время. Теперь у меня будет достаточно времени, чтобы слушать твою болтовню. Надо сказать, что для гречишки ты неплохо освоил латинский язык.

— Потому ты и подобрал меня на форуме, Марк. Что и говорить, твой греческий хорош, но приятно же будет болтать в изгнании на языке твоих славных предков?

— Это не изгнание.

— Понимаю, это временное отступление, перемена позиций.

— Даже если — повторю, — даже если кто-то наверху допускает грубые ошибки, мы все служим Риму. Мы храним ему верность. И настанет день, когда будет востребован каждый из нас, из тех, кто останется верен.

— Иудеи говорят о своем боге то же самое. Особенно после того, как разрушен его храм^[9].

— Да как ты...

— Марк, Марк, перед тобой не батав! — Наглый гречишка отпрыгнул, смешно тряся бородой, и вместо оскорбительного насмешника перед ним была, скорее, комическая маска сатира, а кто же бьет маску? Так что правая рука — и вечная Спутница на ней — так и остановилась в замахе.

Марк не то чтобы сердился всерьез или был драчлив — скучно было ждать лодку с того берега. А тем более — ждать на этих диких далматинских берегах, пока утихнет гнев в императорском дворце и можно будет вернуться в Город, к отцу и невесте.

А жизнь на берегу идет своим чередом и не нуждается в Марке, как он не нуждается в ней. Сидит с удочкой мальчик, рядом с ним — крупный кот рыжего окраса.

— Ждет своей рыбки, — усмехается Филолог, — я слышал, что в этих краях подкармливают кошек, чтобы они уничтожали змей. Говорят, специальных котозмееловов привозят с Кипра, и они ценятся высоко.

— Мне больше по душе собаки, — отвечает Марк, — они верны своим хозяевам. А эти звери живут в основном сами по себе...

— Как и истинные ценители мудрости, Марк, — отвечает со смехом грек.

— Тебе идет это имя, Филолог — Любослов, — усмехается и Марк. — Но неужели тебе его дали родители?

— Нет, конечно, я дал его себе сам, как и подобает свободнорожденному философу.

— Назвался бы уж сразу Сократом или Платоном. Чего мелочиться?

— Эти имена уже заняты. К тому же Платон говорил: все афиняне — филологи, любят поговорить. А я все-таки тоже афинянин.

— Давно ли ты был в Афинах последний раз?

— Никогда еще не бывал.

— Что ж, Филолог. Лодка с Острова запаздывает — расскажи мне свою историю. В Риме было не до того. Считаю, я выбрал себе в спутники первого встречного болтуна.

— И не мог сделать лучше. Ты хочешь долгую или краткую историю?

— Я хочу занимательную. И если ты знаешь их много, побереги те, что получше, — нас с тобой ждет много унылых зимних вечеров. Там, на Рейне, в такие вечера бойцы рассказывали друг другу о себе и о бабах. Привирали, конечно. Но было занимательно. Так что расходовать эти рассказы нам надо бережливо — у меня тут не найдется и десятка бойцов.

— Тогда мою историю, Марк, я могу рассказать тебе прямо сейчас. В ней нет ничего поучительного или занимательного. Не потому ли я и пристрастился к философии, что в жизни своей не встречал ничего интересного?

Но Марк не отвечал, а только лениво водил по воде палочкой, словно что-то

хотел записать на глади, которая не выдаст никому воспоминаний. Вокруг мягкой роскошью горела далматинская осень — местами ее едва приглушала тень от легких облачков, но дождя они не обещали. И там, куда падали мягкие солнечные лучи, краски делались от соседства с тенью лишь ярче и глубже. И кот ждал своей добычи, но не дождался — у мальчика задержался было поплавок из комка перьев, но рыба сорвалась, ушла в глубину, и мальчик сосредоточенно стал насаживать на костяной крючок нового червя.

— Мое прежнее имя, — начал грек, — не станет для тебя приманкой, чтобы на нее клюнули твои воспоминания. По правде говоря, я и сам его почти забыл. Что такое имена, как не условность? Славным было некогда имя города Афины, откуда вышли мои прародители. Выйти им помог Луций Корнелий Сулла^[10] полтора столетия тому назад. Наш род слишком поверил в былую славу родного города и доверился тем, кто рассчитывал на победу фаланги против легиона.

Впрочем, не буду утомлять тебя рассказом о том, что ты и так знаешь лучше меня: о взятии города, его разорении и обращении множества жителей в рабство. Уверен, моему прапрадеду было горько в узах покидать родной город, вплоть до тех самых пор справедливо считавшийся величайшим в мире.

Зато ему удалось поселиться в городе, которому только предстояло обрести такую же славу. И заодно стать одним из тех, о ком справедливо сказал Гораций: «Греция, взятая в плен, победителей диких пленила, в Лаций суровый внеся искусства, изящество, знание»^[11] (я позволил себе немного дополнить здесь Горация). Прапрадед, прадед и дед верно служили своим римским господам, воспитывая их детей, ведя их переписку и всячески способствуя превращению Города в то, чем и стал он ныне, ибо что такое грубая военная сила и даже разумное общественное устройство без поэзии и науки?

— Не сомневаюсь, — прервал его Марк, — что мы бы справились и без вас.

— Но так распорядилась судьба, или рок, или боги, что без нас не обошлось. Вольноотпущенником стал уже мой дед, хотя недоброжелатели приписывали и моему отцу рабское состояние, а кто-то, пожалуй, и про меня скажет, будто в юности я носил ошейник. Но посуди сам, велика ли разница, быть образованным рабом в доме богатого римлянина или его клиентом-вольноотпущенником? Знаю, ты скажешь, что римское гражданство и гордое имя патрицианского рода стоят дорого, но чего они стоят, если все равно тебе недоступны общественные должности и даже золотого кольца, как ты утверждаешь, я не имею права носить? Впрочем, на мой вкус золото — скучный металл. Не столь красивый, сколько опасный — мне не раз доводилось видеть, как оно губило своих хозяев.

А Марк все водил палочкой по воде, а у мальчика блеснула в воздухе рыбешка, и кот заинтересованно потянулся было к ней мордой, но мальчик мягко, как давнего друга, его отстранил и бросил рыбку на дно большой плетеной корзины. Видно, коту доставалась только та мелочовка, что не годилась на обед людям. А может быть, ему, как гению места или какому-нибудь фавну, приносили жертву только от избытка, когда корзинка была полна.

А Филолог продолжал:

— Ведь Сулла, как тебе известно, не только подчинил суровый Лаций утонченным Афинам, он изобрел прекрасный способ освобождать золото от власти хозяев, а заодно давал возможность рабам поквитаться с былыми хозяевами при помощи простого доноса. Называется «проскрипции».

Нет, никто из моих прародителей не продал жизнь своего господина за скучный желтый металл. Но перейти в общественную собственность им все же пришлось, когда Август Октавиан вместе с двумя другими мужами, имя которых память моя услужливо стерла, мстил своим врагам. Так мой прадед из домашнего учителя стал на время писцом, но эта работа ему не слишком понравилась, и вскоре он оказался в другом частном доме на положении библиотекаря. Не спрашивай меня, Марк, каким именно образом раб может управлять своими господами, чтобы получить желанную должность или даже быть проданным в хорошие руки — если бы ты только знал, сколько дел вершится в Риме рабами, ты бы, пожалуй, не воевал так храбро против своих германцев. И когда деду пришла на ум мысль получить свободу, это тоже нетрудно было устроить за серебро, а пуще того помогла привязанность сильных и знатных людей, любивших книги.

За этим разговором двое как будто и не заметили, что мальчик уже ничего не ловил, а стоял рядом и неотступно глядел на Марка. Ему было лет двенадцать — тот возраст, когда еще немыслимо обращаться ко взрослым без особого дозволения.

Марк, не произнося ни слова, взглянул на мальчика и сделал жест ладонью правой руки, так, что Спутница сверкнула на солнце. Мальчик правильно понял жест и собрался сказать слово, он лишь поглядывал на Филолога, выжидая перерыва в его речах.

— Господин, — робко спросил Марка подросток на сносном греческом, улучив момент, — не из тех ли ты, кто чертит судьбы?

— Я? — усмехнулся тот, — может быть, но отчего ты так решил?

— Вы говорите с другом о всяком... Но главное, ты чертишь по воде. На воде пишут только судьбы людей, я знаю. И у меня совсем не клюет сегодня рыба — людские судьбы отпугивают ее. И на руке у тебя — богиня судьбы.

— Все, я перестал, — усмехнулся Марк. Он, может быть, и чертил чужие судьбы, но только мечом, и это было в прошлом. И мальчик явно иллириец^[12], не римлянин — не ему вершить судьбы мира.

— А не мог бы ты мне начертить... — замялся мальчик.

— Что именно?

— Мама не хочет Мура. Она считает, что он прожорлив и ленив. Она даже не позволяет мне брать его с собой на рыбалку. А я говорю, что он приносит удачу. Он рыжий, как золото, а это цвет удачи.

— Боюсь, — ответил Марк, — мой мудрый друг не оценит, если я начну писать что-то про котов палочкой на воде. Но попросить мою Спутницу ты можешь. Вдруг она поможет?

Марк протянул мальчику руку с перстнем, тот на секунду зажмурился, потом

пал на одно колено, бережно поцеловал девичий лик и что-то прошептал на языке, которого Марк не понимал. Потом поблагодарил центуриона и вприпрыжку помчался прочь, размахивая небогатым уловом. А кот вальяжно пошел по берегу в другую сторону по своим котовым делам.

Филологу было слегка досадно, что его не дослушали. Но ведь нахлебник не обижается на невежливость господина. Кто кормит, тот имеет право предпочесть трагедии пустую забаву. Судьбы и жизни, а вернее, смерти и потери — разве этим удивишь легионера?

— Итак, я вижу, история моего рода тебя несколько утомила, — продолжил он, — а в море я вижу лодку, и она направляется к нам. Поэтому буду краток. Я родился в доме свободного римского книготорговца и унаследовал дело моего отца. На меня трудились не рабы, а друзья, весь их ряд, числом дважды двенадцать, от Альфы до Омеги. И приносили, надо сказать, достаточные средства.

Но более всего я ценю утешение, какое они принесли мне, когда умерла родами моя юная жена. Не спрашивай об ее имени, тех, прежних нас больше нет, и ни к чему сотрясать воздух пустыми звуками. Я любил ее, как никого до или после. Знаешь ли, Марк, что это такое, когда три дня и три ночи длится агония, от криков до забытья, и ты все готов отдать и богам, и лекарям, лишь бы они сохранили твою любимую. Но тщетно. Если бы и в самом деле был на земле человек, способный чертить чужие судьбы...

Боги оказались глухи к моим мольбам, да и кто я такой, чтобы они их слышали, а лекари только впустую расхватали мои динарии. Я даже думал тогда пойти по стопам Аякса^[13] и прервать постылую жизнь.

Торговля отныне не имела никакого смысла, как и все в мире, но в лавке остались запасы свитков. И я стал читать. Не то чтобы я не делал этого прежде — какой же торговец не знает своего товара, — но теперь я читал не чтобы продать, а чтобы понять.

И обрел сокровище, которому верен и по сей день. Если моей любимой не было на свете, а с ней и сына, который так и не вышел из ее чрева, мне оставалось найти новую любимую — бессмертную, как боги, и неспособную предать, как... как еще одна из них. И я нашел ее, имя ей — Философия. С тех пор и себе я взял новое имя. Любовные утехы нетрудно купить за деньги, а добродетельному по силам обойтись и без них, но вот без мудрости древних жить не то чтобы трудно — бессмысленно. И я вижу, что мой рассказ все же оказался занимателен, потому что ты больше не чертишь на водной глади.

— Я просто обещал мальчишке не отпугивать людскими судьбами рыб, — усмехнулся Марк.

— Суеверие, пустое суеверие — да и рыболова не видно... а я, если позволишь вернуться к рассказу, держал торговлю, пока Августом не стал божественный Веспасиан, настолько же безразличный к моим радостям и бедам, как и прочие божества. Ты же знаешь, что он не жалуется возлюбленную мою, Философию. К тому же оказалось, что именно в моей рукописной мастерской заказывали свои книги

некоторые его бывшие недоброжелатели, и среди свитков были, представь себе, некоторые речи, на которые я по неосторожности не обратил внимания... Словом, я почел за благо продать все свое дело за треть цены и найти поскорее знатного и склонного к размышлениям покровителя — в твоём лице, Марк Аквилый, прозванный Корвином.

— Первого встречного, — уточнил Марк, — сделать своим покровителем. Доволен выбором?

— Первый встречный не хуже второго, когда нужно быстро уладить дела и оставить Город. А госпожа моя Философия учит меня не замечать мелких различий.

Лодка тем временем приблизилась к берегу, двое гребцов подняли весла, а коренастый человек в добротной римской тунике прыгнул в воду и торопливо выбрался на берег. Глубокий поклон, взлет руки в приветственном жесте:

— Аве! Марк Аквилый, твой дом приготовлен к твоему приезду! Я — Тит Аквилый, прозванный Юстом, твой отец даровал моему отцу свободу, и вот уже девять лет я слежу за этим поместьем Аквилиев на нашем прекрасном Острове.

— Сальве, Юст! Моего секретаря зовут Филолог, он свободен, и он грек.

Вот уж не думал он, что каждое утро теперь его будет встречать человек с ненавистным именем Тит. Его, конечно, можно называть Юстом, но невозможно забыть это имя. Тит Флавий Веспасиан — тот, кто уничтожил Четвертый Легион и кто теперь правит в Риме.

Впрочем, и вида показывать не стоит, как противно ему имя принцепса^[14], с какой охотой променял бы он самого правителя на рыбешек в корзине местного мальчишки. Но само звание принцепса, как и орел легиона, — священно. А святыни Рима — они для римлян, их никогда не посмеют коснуться иллирийские варвары или какие-нибудь там иудеи.

Торговцы

Ровно через тысячу сто тридцать два года староста Марко Радомирович будет на этом самом месте торговаться с Исааком Анкони, приберегая на конец торга фамильных ларов^[15] Аквилиев. Они будут говорить на той ломаной латыни, которая бродит по всей Адриатике, — ее принимают, словно звонкую монету, во всех портах, кабаках и на всех рынках. Флорентинцы к тому моменту еще не успеют объяснить всем остальным, что именно им принадлежит новый и прекрасный язык, — а мирные наши острова еще не успеют растворить свои говоры и диалекты в славянском или итальянском море.

Еврей в своей островерхой шапке, в желтом, обязательно желтом плаще, остроносый и курчавый, как и положено всякому еврею. Марко в домотканой рубаше, как все крестьяне, грубой шерстяной кофте, плоской матерчатой шляпе, рядом с ним — мешки с сухими травами, бочки с соленой рыбой, запечатанные кувшины с медом. Остров небогат, мало что может предложить купцу, который ведет свою торговлишку (он сам так о ней говорит) от Корфу до Венеции, объезжая все побережье.

Оба сидят: Исаак на складном стульчике, рядом с ним слуга, он держит кувшин с хорошим далматинским вином, ведь торговля идет куда проще и лучше, если потягивать его из глиняных плошек. Марко захватил круг козьего сыра на закуску.

Поодаль от Марко молча и как бы даже робко играет с какими-то щепочками и камешками его дочь лет шести, большеглазая и курносая, как все дети. Не дело таскать ребенка, особенно девчонку, на торговые сделки, но что поделать, если Марко недавно овдовел (и на шляпе — черная лента), а его ненаглядную, младшенькую Иру теперь от него не оттащишь? Во сне и то вскакивает: здесь ли папа. Ничего, свыкнется со временем. Исаак не задает никаких вопросов — и так ведь все понятно. И к чему отвлекать тяжелым разговором того, с кем ведешь торговлю?

А еще рядом с Марко — корзина, накрытая дерюгой. Необычный товар напоследок.

— Мир тебе, Исаак! Куда и откуда?

— И тебе мир, Марко! Как всегда — ничего особенного... С юга на север, потом с севера на юг. От тебя — на Курцолу^[16].

— Что творится в мире? Ты, говорят, был у самого Константинополя?

— Что ты, Марко, там ведут торговлю большие люди. Не чета мне. Что такое твоя соленая рыба да лаванда для воинов, которые чуть было не взяли богатейший город вселенной? Я и не приближался к Царьграду. Так, мелкие поставки продовольствия тем, кто отстал от основного войска. Что слышно на Острове?

Марко долго рассказывает все новости. Кто умер в деревне, кто женился, сколько родилось ребят, и какой был урожай, и что от молнии выгорела половина леса на северном склоне холма, и уж боялись, что огонь пойдет дальше, но, хвала

Пречистой, удалось пожар остановить. Только про жену не поминает — к чему, когда и так все видно?

Рассказ Исаака совсем другой. Он — о воинах Христа, которые по призыву папы Иннокентия отправились отвоевывать что-то такое важное в землях магометан, а отвоевали пока что Зару^[17] у мадьяр да попытались Константинополь у греков, но что-то у них не заладилось с Константинополем. Грек — он и еврея переторгует, сумели они уболтать крестоносцев на этот раз. Да ведь островитяне и сами видели, как шел по Адриатике огромный венецианский флот этим летом, но цены на соленую рыбу хоть и подскочили тогда раза в два, особенно к Рождественскому посту, но теперь снова упали. Пусть Марко учтет это.

Молодое вино веселит, хочется обсудить не только цены.

— Исаак, а они ведь хотят снова воевать этот... Иерусалим? Где Господь наш жил во плоти и где Пречистая?

— Так, Марко, Иерусалим.

— А тебе не обидно, Исаак? Он же раньше был ваш, еврейский — нам в церкви рассказывали. Потом его взяли и разрушили римляне. Потом нечестивые магометане. И вроде как наши его у них отбили и всех вырезали, поди, и вашим досталось. Теперь он опять у магометан. Ну вот возьмут его опять латиняне и опять разрушат — а вам, евреям, что с того? Еще обиднее будет. И ты их снабжаешь рыбой?

Еврей чуточку молчит, кивает головой.

— Марко, Марко, это Всемогуший прогневался на праотцев наших. Римляне тут ни при чем. Будет время, придет Мессия — он восстановит нам Иерусалим. Когда-нибудь обязательно. А сейчас — что может сделать бедный еврей сейчас? Потихонечку торговать.

И добавляет:

— Да и не думаю, Марко, что они его возьмут. Что-то непохоже. Им Константинополь больше глянулся. А счет растет — за перевозку по морю надо платить и за поставки. Не по карману им Иерусалим. А Константинополь — они его уже почти взяли этим летом. Ой, богатый город, богатый...

— Погоди, Исаак, еще спрошу. Ну ладно, Зару они отобрали у мадьяр, хотя мадьяры тоже христиане, потому что все равно они чужие и не место им в нашей Далмации. Отродясь тут мадьяр никаких не было. А греки? Что они не поделили с греками? Греки всегда там жили, и тоже христиане, или нет? Хотя, не признают папу... и попы у них макушек не бреют...

— Все там сложно, Марко. Один был греческий царь, потом его сверг другой, первый попросил воинов вернуть ему престол. У вас, христиан, принято воевать друг с другом.

— А кто, Исаак, твой государь? У нас вот царь Христос, и есть в Риме папа, и еще, говорят, есть какой-то император там на севере, у аламанцев. И всякий знатный на материке — не князь, так герцог, кто кому подчиняется, не всегда и поймешь. Ну

а вы, евреи, — сами по себе, что ли?

— Наш царь — Всевышний, наша царица — Тора. А служу я госпоже, чье имя — Серениссима.

— Что за госпожа такая сиятельная? — удивляется Марко.

— Новая госпожа, пока мало кто знает ее имя. Но сила у нее прибавляется, и богатство ее растет. Ее земли на севере, ее голос на водах многих, нет там царя, а вы зовете ее Венецией.

— А, ты про это... Слушай, Исаак. Ты ведь после Курцолы на Фарию^[18], а потом, небось, туда, в эту самую... Венецу?

— Так, Марко.

— Говорят, ты скупаешь всякие старые штуки? Которые остались от древних? Я тебе привез, посмотри. У нас тут ведь тоже римляне жили, давно, еще до нас.

— Так, Марко, покажи.

Девочка поодаль перестает играть и смотрит во все глаза. И во все уши слушает. Что за штуки у папы? Он не показал ей их, как она ни просила. Ну она же обещала, что не будет канючить, она понимает, что всей деревне нужны денежки и этот страшный дядька в страшной шапке даст их только за самое-самое ценное.

— Давай сначала с рыбой и травами разберемся, — говорит Марко еврею.

А чего там разбираться? Цены известны, давно устоялись, и уж эти двое точно знают, сколько и какой рыбы будет честно отдать за нож городской работы или шапку с перьями птиц, каких не водилось на Острове. Очень скоро молчаливые слуги Исаака грузят мешки и бочки на телеги, у Марка остается одна корзина да тючок с городским товаром.

— Вот смотри, Исаак, тут работа тонкая...

Купец откладывает в сторону какие-то бессмысленные железяки и черепки (за старьевщика они его, что ли, держат!), а на дне корзины завернуты в чистые тряпочки три мраморные статуэтки. Он осторожно разворачивает и придирчиво разглядывает их. У одной отбита голова, лежит отдельно, вторая безвозвратно утратила руку, третья сохранилась неплохо — только мелкие сколы да царапины. Ее, пожалуй, стоит взять.

Эта дева прекрасна, как сама Далмация, и юна, как ее рассветы. Волосы ниспадают на плечи, выбившись из-под легкой накидки, словно стадо коз сбегает с холма. Уста чуть тронуты полуулыбкой-полувопросом, словно хочет она что-то тебе сказать, но не знает, тратить ли на тебя свою вечность. Да, умели делать когда-то красоту!

— И чего ты за это хочешь, Марко?

— Теперь, говорят, торгуют на деньги. По всему морю.

— Деньги? На что тебе деньги, Марко? Разве не поменяешь ты рыбу на холсты, а маслины — на железо? Или кто наложил на вас денежную подать?

— Подати никакой нет, а чем мы делимся, тем делимся. Но я хочу деньги, Исаак.

Исаак понимает, что если крестьянин уперся — его не отговорить. Крестonosцы, как валун с обрыва, упали в Адриатику, и круги расходятся далеко. Пейзаж уже не останется прежним.

В Заре и Рагузе^[19] уже разгромили не одну еврейскую лавку — а как иначе поступать с теми, кто распял их Иисуса? И плевать, что на самом деле это были римляне!

А теперь крестьянам понадобились деньги. Что ж, хороший выбор. Неосознанный, но хороший. И настоящей цены этот мужик не знает — да и не бывает в такой торговле настоящей цены.

Никогда еще не продавали на островах римских терафимов^[20] за венецианское серебро, и цену еще предстоит нащупать.

Исаак достает несколько серебряных кругляшей.

— Исаак, побойся Бога! Они от самых древних остались! Теперь уже таких никто тебе не вырежет, у нас и камня такого нет!

— Папочка! — резкий девчачий вскрик обрывает торговлю. Вот кто глядел на статуэтки во все глаза. Марк сурово смотрит на дочку — и не будь она сиротой, не миновать бы ей шлепка. Слыханное ли дело вмешиваться!

— Папочка, это же святая Ирина! Моя небесная святая! Ее в церковь надо, а ты ее отдаешь... (она колеблется, она хочет быть хорошей)... чужому дяде отдаешь!

Исаак недоуменно вскидывает брови. Он хорошо понимает по-славянски.

— С чего ты взяла, что святая Ирина? Наша Ирина-на-Острове? — Марко так удивлен, что уже не сердится.

— Она ко мне во сне приходила! Она от мамы привет передала! Она мне все-все рассказала, велела ждать и надеяться! И что урожай маслин в этом году будет добрый, так ведь и вышло, и что надо привязать к дверной ручке шерстяные нитки трех цветов, чтобы гроза мимо прошла. И даже что чужое войско нас не тронет, если я буду каждый-каждый вечер читать Ave Maria на четыре ветра и Pater Noster на домашний очаг... Папочка, я же выучила все эти молитвы, правда? Она же наш Остров от бед бережет, а ты ее — чужому!

Исаак, не стесняясь, улыбается во весь рот. Многовато у него гнилых зубов, а ведь ему едва за сорок.

— Все верно, солнышко, но при чем тут статуэтка? — Марко уже не сердится. Что за чудо его дочурка!

— Она так похожа на нее... и тот же взгляд! И смотри, вот ее всю злые люди исцарапали. А она терпела. А ты ее теперь хочешь отдать... чужим!

— Это от времени, доченька. Это не злые люди. Это время, оно никого не щадит.

— Все равно это моя святая!

— Нет, девочка, — в разговор вступает еврей, — поверь мне, я купил и продал много святых. Это статуя древних римлян. Какая-то их богиня, Церера или Венера, Фортуна или Юнона, мало ли их было. Ваши святые другие. Разве ты видишь у нее крест?

— Ну и что, — девчонка топает ножкой, — это она, она, я знаю!

— Марко, старый друг, — еврей хохочет, — ты знаешь, как поднять цену! Ой, знаешь!

— Исаак, клянусь своим порогом, и в мыслях...

— Девочка... давай договоримся так, — Исаак умеет улаживать дела, — я дам твоему папе денежек, он потом даст одну-две монетки мастеру, который рисует у вас святых, он сделает тебе картинку с твоей святой.

— Икону, — мрачно уточняет Марк. Стоимость иконы предстоит включить в счет, но как это сделать? Исаак всяко хитрее.

— А тебе, девочка. — Исаак развязывает какой-то мешок. — Я насыплю тебе сушеных фиников, чтобы ты не горевала об этом кусочке камня. Они вкусные, они выросли на высоких деревьях под названием «пальмы» в далекой стране Мицраим^[21], где львы, верблюды и огромные дворцы мертвых царей фараонов. Не веришь, спроси у своей святой.

— А ты там был? — недоверчиво спрашивает девочка.

— Я — нет. Но был мой приятель, с которым, как и с твоим папой, мы ведем дела. Теперь позволь мне поговорить с твоим отцом о самом скучном деле на свете — о деньгах.

Малышка глотает слезу и пробует финик. Он и правда вкусный. Это лучше, чем ничего, — а статуэтки ей, конечно, никогда больше не увидеть. Она будет грызть финики, и даже принесет немного домой — старшим. Пусть попробуют. Она расскажет про волшебную страну, где во дворцах царствуют львы и так же точно торгуют евреи. Она немного понимает этот странный язык, на котором папа торгуется с чужим дядей, на нем говорят иногда и на Острове.

Торговля длится долго. Исаак машет руками и демонстративно разворачивается к телегам (к ликованию девчонки), Марко кричит ему вслед, Исаак возвращается. Кувшин с вином уже почти пуст, а солнце клонится к дальней горе, когда они бьют по рукам и допивают вино. Скоро начнется шаббат, Исаак должен закрыть сделку прямо сейчас, он заночует в приморском селении, где давно есть маленький домик со складом для проезжих торговцев. Здесь все знают всех. Бочки и мешки надо успеть оттащить туда до заката, и надо успеть накрыть к шаббату скромный стол. А что еще остается бедному еврею в этой чужой и прекрасной Далмации?

А Марко с дочкой надо засветло вернуться домой.

— Исаак, дело закончено, скажи теперь честно: зачем они тебе?

— Марко, ты мой старый друг, но разве торговец станет раскрывать секреты —

почем купил и где продаст?

— Исаак, обижаешь. И потом, если я буду знать — я тебе других таких могу найти.

Марко врет — он уже обыскал весь Остров, других таких нет. Ему просто любопытно.

— Хорошо, скажу, — смеется тот, он давно знает простодушного плута Марко и в душе его любит, — смотри, в Венеции не хватает старины. Там не было древних римлян. Когда на вашем Острове римляне строили свои дома и молились идолам (а это ведь они), там были сплошные болота. И вот теперь Серениссима набирает силу — а чем она будет хвастаться?

— Римскими божками?

— Да нет, зачем же! Они, представь себе, украли тело вашего святого Марка.

— Моего покровителя? Как украли? Что ты такое городишь, еврей! Ты клеветешь на христиан! — Марко уже захмелел не столько от вина, сколько от прибытка. Он даже не видит, как его младшенькая тихо плачет, ковыряя палочкой в земле. Фиников не осталось (кроме тех, которые старшим), а святую все-таки очень-очень жалко.

— Нет-нет-нет, я с полным уважением! Это было больше ста лет назад. Тело вашего, как говорите вы, евангелиста лежало в церкви где-то в земле Мицраим. Это в Африке, там теперь не только финики, но и магометане. Они рушили ваши церкви и строили свои молельни, называется «мечеть».

— Накажи их Господь!

— Накажет, может быть, руками ваших рыцарей, но только сначала, похоже, получают греки. Так вот, венецианские купцы там, в городе Александрии, вынесли тело из церкви к себе на корабль, завалили его свинными тушами, чтобы арабы не совали носа, — и отвезли в Венецию. Теперь тело лежит в огромном соборе на главной площади города.

— Хотел бы я там побывать... А зачем им тогда эти статуи? Ты говоришь, идолы? Тебе зачем, ты же не язычник?

— Товар, хороший товар. Венецианцы хотят древностей. Римских. В самом городе Рима — собор Петра. Но Петр не писал никаких книг. А в Венеции теперь зато — Марк, он Евангелие написал. А вот древностей не хватает, в Риме они на каждом шагу.

— Ты бывал в Риме?

— Что делать в Риме бедному еврею? Но дядя мой бывал. И вот венецианцы хотят хоть каких древностей. Скажу им, это статуи святых. У вас есть какие-нибудь ваши святые на Острове?

— Есть одна...

— Расскажи мне ее историю.

— Исаак, ты покупал статую, а не историю! Не расскажу. Это все равно не она, и даже не похожа. Ты сам так сказал. И потом, люди одни рассказывают одно, другие — другое. Кто его знает, как оно было на самом деле.

— Как хочешь. Тогда ее историю расскажут мне другие. А не расскажут — мало ли на белом свете историй? Я придумаю еще одну.

— Все-таки какие вы, евреи... Вот скажи, как ты можешь торговать чужими святынями?

— Этот доход, Марко, не хуже другого дохода. Думаешь, в Риме ваш папа поступает иначе? И все ваши эти кардиналы?

— Э!

— Молчу, молчу, молчу. Марко, нам пора по домам — скоро закат. Рад был тебя видеть, приветствуй свой дом и свое селение, да благословит их Всевышний.

— И тебе доброго пути, старый мой друг Исаак, гладкий ты лис. Только одно скажи напоследок. Почему ты только сейчас стал скупать такой товар?

— Не стал бы никому говорить, Марко, но тебе скажу по старой дружбе. Грядут новые дни. Я чувствую, брюхом чую, что Константинополю не устоять. Скоро добрые латинские христиане отберут город у добрых греческих христиан и половину из них перережут. И тогда на рынках Венеции будет очень, очень, очень много римских древностей по очень низкой цене, и торговать ими буду не я. Надо же теперь поторопиться бедному еврею!

Адриатика вечно пахнет ветром и травами, солью и солнцем. Приходят и уходят войска и царства, но даже ненастным осенним днем сушеные лаванда и чабрец возвращают частицу солнечного лета. До зимы далеко и до новых побед крестового войска, а пока легкие и теплые дожди играют в догонялки, горы синеют глубже и вечер приходит раньше, и кто не был жаден до чужой добычи, найдет и на самом маленьком островке товар по сердцу. А если откроется на Земле торговля доходней торговли святынями — мы, если будет угодно Всевышнему, отправимся по этому следу.

Дом. История Лазаря

Лодка под парусом скользила по теплым лазоревым водам почти без звука, горы нехотя раскрывали свои ложбины, словно со сна ворочались в постели. Морские брызги хранили тонкий запах лаванды, шалфея и мяты — или это их одежда впитала на горном берегу ароматы местных трав? И можно было только удивляться, почему боги пожелали отдать римлянам скучный западный берег Адриатики, а самая красота на ее востоке досталась варварам. Но может быть, именно для того, чтобы римляне пришли и сделали ее своей?

Юст рассказывал по дороге, сколько нынче собрали винограда, оливок и пшеницы, сколько запасли меда и трав, сколько рабов работает в поле и скольких прикупил он по случаю в Эпидавре Иллирийском^[22], где как раз недавно были торги. Много ли домашних рабов нужно воину, который привык к лагерям и походам?

А вот к морскому делу Марк совсем не привык. Выбираясь на причал, не рассчитав шага, чуть не свалился в воду на потеху встречающим. С трудом удержал равновесие, взмахнув руками, и крепко приложился кистью о железную скобу причала, широко так, увесисто. Аж губу закусил от боли, взорвавшей сустав на пальце — как раз на том, где Спутница. Смешно сказать — пройдя войну с батавами, самого себя чуть не покалечить почти на пороге собственного дома.

На причале их встречал еще один человек лет сорока в римской тунике — хромой, седой, со шрамом на всю левую половину лица (и как только уцелел глаз!), и род его занятий нетрудно было угадать. Удар кулаком в грудь, вскинутая в приветствии рука (а на ней кожаный браслет легионера и два пальца слегка искривлены):

— Марк Аквиллий, десятник Пятого Македонского Луций Габиний по прозвищу Симон приветствует тебя!

— Сальве! Я не знал, что здесь стоит часть Пятого Македонского, — почти и не морщась от внезапной боли, отчеканил Марк.

— Всего лишь сторожевой пост. Остров слишком незначителен. После Иудейской войны я мог выйти в отставку по ранению, но посуди сам — какой из меня теперь земледелец? Знаю только военное ремесло, еще не начала расти у меня борода, когда я надел калиги — обувь легионера. Так что теперь я тут. Маленький сигнальный пост, всего пять человек. Два таких же увечных ветерана и двое (тут его голос заметно окислился) вспомогательных из местных. Вот на той горе. Всегда рады видеть тебя, Марк Аквиллий! Ты расскажешь нам о битвах Четвертого Македонского.

— А вы мне — о подвигах Пятого. Мне говорили о взятии Иерусалима, но зимними вечерами обязательно хочу узнать об этом от тех, кто был там в деле.

Всякий, кто воевал с батавами в германских лесах, привык следить за малейшим движением сбоку и сзади. И Марк не мог не заметить этого горького вздоха со стороны, где стояло несколько рабов. Длинный и худой мужчина с

кудрявой бородой, поседевшей совсем не по возрасту, старательно смотрел себе под ноги. Рабы нынче опять подешевели — добыча в Иудее была богатой.

— Ты всегда будешь желанным гостем в моем доме, Луций!

И вполоборота бросил Юсту:

— Мои рабы, полагаю? Покажи.

И Юст чуть суетливо подвел господина к его выстроившейся собственности и начал с поварихи. По всему было видно, что эта добродушная тетка средних лет, чуть полноватая и веселая, ночует в его комнате. Она родилась в этом поместье, ремесло освоила с юных лет, а теперь поодаль стояли две ее маленькие дочки и помощницы. Звали ее Стряпуха, как нельзя кстати.

Помогать ей должна была молчаливая рабыня-иллирийка по имени Рыбка, купленная на распродаже разорившегося имения в материковой Далмации. Пока в доме не было господина, Стряпуха справлялась одна — по правде сказать, других рабов и вовсе не держали, Юсту во всех смыслах ее хватало. Но как можно было встречать римского всадника без должной подготовки? Пришлось закупаться.

Рядом стоял огромный и неуклюжий Дак — подсобная рабочая сила: дров наколоть, воды натаскать. Он, понятное дело, был из Дакии^[23], только что приобретен в Эпидавре вместе с двумя другими рабами. Дак был выбран словно бы специально в напоминание Марку о боях на Рейне — пленник, захваченный на войне и едва говорящий на латыни.

Двое других новых рабов были как раз из Иудеи. Скорбный худой садовник, которого называли Черенком, и молодая девушка с глубоким свежим шрамом на правой щеке (военная добыча часто так выглядит). Волосы у нее были неожиданно светлые для иудейки, а на шее висели бусы из бирюзы — и как только никто не отобрал по дороге! Она должна была убирать в доме, и Юст еще не придумал ей имени. Вроде как подходили Метелка или Чистюля, но имена эти не шли к тонким рукам и лицу, изящному даже со шрамом.

— Как тебя звали в отеческом доме? — спросил Марк. Девушка ему глянулась, и он уже задумался, что взять такую в наложницы было бы неплохо — для тех самых долгих зимних вечеров. Рассказы о битвах, подогретое вино с травами и такая вот девушка. А что, вполне сносно, хоть и не Город.

— Шуламит на языке моей матери, или Эйрена по-гречески, господин. — Она избегала смотреть ему в лицо.

Он усмехнулся. Сразу два имени для такой мелкой, невзрачной девчонки... Что за баловство.

— Юст, почему ее продали как уборщицу? Уверен, за нее бы заплатили дорого содержатели веселых домов.

— Не захотели, Марк, — улыбнулся тот, — что-то там не так. Шрам, наверное. Для простонародья слишком красива, для богатых слегка порченная. И сама, говорят, не хочет, а кому ж это приятно, одним насилием брать? Это не сладко. То есть в походе годится, наверное (он мечтательно улыбнулся), но не в своем же доме.

И тут же поправился:

— Не думай, господин, я не пробовал. Она ведь твоя, я к ней не прикасался. Что она дева, это мне торговец сказал.

Девушка только задышала чуть чаще, а Черенок опять глубоко вздохнул.

— Что так страдаешь, Черенок? — усмехнулся Марк.

— Господин, мое имя Элеазар, сын Йосефа из колена Левия, — ответил он на безупречном греческом, — а греки называли меня Лазарем.

— Черено-ок, — протянул Марк, — ты теперь раб. Учи латинский, Черенок, а то грек у меня уже есть, да и к чему мне тут разглагольствовать по-гречески? Это римская земля. Здесь говорят на латыни.

— Прости, господин, я говорю и на латыни, но не так хорошо, — перешел тот на язык своего господина, — я знал, что ты человек книжный и знаешь греческий, я боялся оскорбить твой слух своими ошибками в римской речи. Еще я говорю на священном нашем наречии и на простом арамейском.

— Ходячая библиотека, — усмехнулся Марк, — но у нас уже есть Филолог. Юст, а почему его не продали в секретари?

— Болтлив и все время вздыхает, — ответил тот, — в саду ему самый раз. Садовую работу знает, я проверял. А грамотных рабов нынче переизбыток, их много там взяли, этих блаблазаров из колена чего-то там такого. И все как один книжники.

— Хорошо, Черенок. А зачем вздыхаешь?

— Я молю нашего Бога даровать тебе, господин, долгие годы жизни, счастья и благополучия и твоему помощнику Юсту вместе с тобой. Ты избавил сестру мою Шуламит от позора.

— Что? — опешил Марк, — она тебе сестра?

— Она тоже из дочерей Авраама, Исаака и Иакова.

— Ваши родословия мне без надобности. Вы из одного дома?

— Из дома Иакова, господин, но я впервые встретил ее на рабском рынке в Эпидавре.

— Ты обязательно расскажешь мне каким-нибудь зимним вечером про своего бога, чем отличается он от наших, и про этих людей, которых называешь своими отцами, — может быть, у вас, иудеев, их и правда по несколько человек. Говорят, вы поклоняетесь ослиной голове, так что все может быть. Но мне стало любопытно, как попал ты сюда?

— С твоего позволения, господин, буду говорить по-гречески, это... трудная история.

— Используй язык греков, но оставь их вечную болтливость. Будь краток.

Филолог недовольно хмыкнул, конечно.

— Благодарю и постараюсь. Я, мой господин, происхожу из колена Левия (я

понимаю, что это тебе не очень важно, но без этих подробностей мой рассказ будет неполон), которое служит в святилище нашего Бога в Иерусалиме. Но Бог наш прогневался...

— Подробности отношений с вашим богом оставь вашим жрецам. Я понял, что ты один из них. Попал в плен при взятии Иерусалима?

— Немного сложнее, мой господин. Боюсь, что те из моих братьев, которые остались в городе, убиты почти все. Еще перед тем, как войско Тита Флавия сомкнуло свои ряды перед городскими стенами, я был отправлен из нашего святилища с небольшим поручением...

— Лазутчик? — лениво спросил Марк. Война была окончена, враг пленен, и храбрый вражеский лазутчик, теперь совершенно обезвреженный, не мог считаться его врагом и даже мог вызвать уважение, если проявил доблесть в своем деле.

— О нет, господин. Всего лишь хранитель книг. Только книги. При храме было целое собрание, и я был одним из тех, кто берег и переписывал их.

— Марк, да он один из наших! — радостно вмешался Филолог, — представь себе, среди иудеев тоже есть ценители философии!

— Удачный выбор сделал Юст, сам того не понимая, — согласился Марк, — на досуге устрою между вами состязание. Кто сможет убедительнее изложить основы своего учения? А Луция пригласим судьей. Идет, Луций?

Тот снова вскинул руку в приветствии. Неожиданная для ветерана готовность рассуждать о древних книгах, отметил Марк. Его бойцы таким интересом не страдали. Неужели пряный и пыльный воздух Востока творит с легионерами чудеса? И каким он сам станет через год-другой на этом острове шалфея, соли и меда?

— Так что с твоими книгами, Черенок?

Он, вопреки обыкновению, ответил не сразу. Как можно было описать тот ясный полдень, ту пыльную дорогу, ту неспешную поступь ослика, которые поделили жизнь на до и после, на свободу и рабство? Римским солдатам, стоявшим в заставе на дороге, было отчаянно скучно. Они, может быть, были добрыми, прекрасными людьми, просто им надо было развлечься, а еще никто из них не хотел показаться своим товарищам жалостливым слабаком. Лазаря остановили, грубо стащили с осла, он не сопротивлялся и даже не возражал — важно было сохранить свитки.

«Золото, ищите золото и камни, — настойчиво требовал один из них, старший, — эти иудейские жрецы обляпаны им что твой теленок пометом, наверняка и этот прячет сокровища!» И грубые руки стаскивали с него одежду, разжимали челюсть, заглядывали в другие потайные места, поколачивая его забавы ради. Они не могли взять Иерусалим, но как легко им было унижить левита.

Золота не было, камней тоже. А поклажу высыпали в придорожную пыль и топтали своими подметками не просто мудрость древних — топтали священное Слово Творца. И что значила теперь пара лишних зуботычин?

А потом они решили, что без прибыли возвращаться в центурию будет негоже. И как это кстати случилось, что той же дорогой проезжал через час знакомый работорговец со своими слугами — из тех, что по пятам следуют за войском и первыми объезжают посты. И вот теперь Лазарь в рабстве.

Но что это значит по сравнению с костром, в который бросили книги — и буквы, как людские души, улетали на небеса, когда корчился и трескался пергамен, когда обращалось в прах и пепел земное естество. Из праха был взят, и в прах отыдет всяк человек, но Слово Творца пребывает вечно. И пусть Лазарю по грехам его не суждено было спасти свитки — он был такой не один, кому-то удастся прорваться. И даже если всех левитов переловят на всех дорогах, если сгорит и сам Храм — останутся на краю пустыни раскольники, не признающие ни Храма, ни его жертв, но признающие Слово. Они схоронят его в дальних пещерах над Мертвым морем, свитки переживут и Рим, и все другие державы, жадные до Святой Земли.

«Пройдут века, забудутся подвиги и полководцы, имя самого Лазаря канет в бездну, но вот однажды мальчик в поисках пропавшей козы забредет в одну из этих пещер — и наши внуки будут снова читать наши книги. Тогда я воскресну — пусть не в теле, но в Слове» — так думал Лазарь, пока его, нагого и избитого, тащили на аркане за повозкой работорговца, и с уст его срывалось только одно: «Благословен Ты, Царь веков и миров...»

Но не говорить же об этом было центуриону, который ждет краткого и простого ответа? Так что Лазарь, а теперь Черенок, сказал только:

— С твоего позволения, господин, меня отправили спрятать наши священные свитки в надежном месте прежде, чем падет Иерусалим. Увы мне, я не справился с заданием: книги пропали, меня продали работорговцу. Но что значит моя ничтожная жизнь, когда погибли книги?

Филолог даже причмокнул языком, и не было понятно, чего больше в том звуке — сочувствия, удивления или вечной той иронии, без которой он, похоже, не мог обходиться.

— Но я благодарен Всевышнему, что попал в твой дом, где ценят слово и умеют...

— Тебе предстоит ценить лопату и грабли, раб, — оборвал его Юст. Ему казалось странным, что господин беседует с рабами, словно они такие же люди, как и он, свободный римлянин, и он не мог понять, что причиной тому была скорее скука, чем сочувствие.

— Ну, а ты, — обратился Марк к стоявшей рядом девушке, — тоже довольна, что попала в мой дом?

— Да, господин. — Девушка не поднимала глаз, а лицо ее горело от стыда и боязни, и это делало ее еще притягательней и желанней. Но Марк был воином, а настоящие воины, в отличие от грубой солдатни, привыкли не торопить удовольствия.

— Ты была Эйреной? Зовись так и впредь. Будет проще. А свое иудейское имя оставь своим предкам.

— Благодарю, господин.

— Ну что же, — подвел итог Марк, — после долгого пути, завершившегося благополучно, надо принести жертвы ларам и, пожалуй, пообедать. Луций Габиний, я прошу тебя быть моим гостем.

— С радостью и благодарностью, Марк Аквиллий, — отозвался тот, — но прошу простить меня, что не смогу быть с тобой во время жертвоприношений. Если ты позволишь мне все же остаться на обед, я сочту это честью.

— Что? Почему ты не хочешь почтить ларов моего дома?

— Я почитаю тебя как человека, Марк, но... я не могу приносить жертвы никому, кроме моего Бога, — смущенно отозвался тот.

— Благие боги! — воскликнул Марк, — ты римлянин из рода Габиниев, не этих Аквов-Врамов, тебя что, иудеи затащили в свою ватагу? Ты же проливал кровь на войне с ними! За Рим!

— И не оставил своего служения Риму, ты видишь, Марк. Но жертвы богам — этого не могу.

— Так ты теперь иудей?

— Нет. Я чту своим Господом Иисуса, прозванного Христом.

— Что ж, лучше, чем...

Веспасиана, хотел сказать Марк, но вовремя сдержался. Чудные дела творятся под солнцем в этой части света. Римлянин чтит какого-то Иисуса и не приносит жертвы ларам.

И все же он воин.

— Как бы то ни было, десятник Пятого Македонского всегда будет почетным гостем за столом сотника Четвертого Македонского.

— Благодарю, господин.

Марк наконец-то вошел под кров отеческого дома, где не был с раннего детства, немало не заботясь, что над бирюзовыми бусами вспыхнули радостным, пусть и недоверчивым огнем серые девчачьи глаза. У него будет время со всем этим разобраться долгими зимними вечерами.

И стоя перед домашним ларарием, забытым за долгие годы отсутствия, он думал о многом. О том, что Остров теперь и есть его провинция, его легион, его судьба и его кара. Что островитяне нелепы в своих предрассудках, но боги прекрасны и благосклонны. И среди простоватых божеств — поди, деревенской работы — выделялась своей красотой и юностью одна, как Далмация среди римских провинций и как рассвет среди суточного круга. Волосы ее из-под легкой накидки ниспадали на плечи, а чуть разомкнутые уста то ли хотели его о чем-то спросить, то ли не решались улыбнуться.

И была она похожа на Спутницу, как похожа на нее всякая красота этого мира. Словно она не странствовала всегда на его персте, а ждала его именно в этом доме.

И о чем-то хотела — и не решалась ему поведать.

И только Филолог, приносивший вместе с ним скромную жертву ларам, нарушил благоговейную тишину:

— Марк, мы говорили с тобой о кольце. Будь я суеверен, я бы сказал, что кому-то из богов не понравилось, как ты хвалился своим римским достоинством, и они наслали на тебя воспаление сустава. Но я всего лишь человек, прочитавший несколько книг о лекарском искусстве, и поэтому скажу просто: если ты сейчас не снимешь кольца — на время, на время, разумеется! — ты его снимешь уже только вместе с пальцем, который придется отсекать как гангренозный член. Посмотри на это вздутие.

Марк привык терпеть боль, это правда. Но здесь было что-то большее, чем боль. Его Спутница покоилась между двух красноватых подушек — так распух ушибленный сустав. И даже не в том дело, что больно, а — можно ли держать ее на больном пальце? Не оскорбит ли это ее покоя?

— Что ты предлагаешь? — спросил Марк.

— Временно снять кольцо и отдать под защиту твоих ларов.

— Снять всадническое достоинство?

— Ну, или переместить его на другой палец, если ты готов.

Марк хмыкнул. Не такой была Спутница, чтобы менять место, но... Может быть, боги посылали ему знак, что здесь он обрел дом и покой? Что Спутница вернулась туда, где ей место, и нет больше нужды в ее покровительстве среди странствий и сражений, потому что закончен им счет?

— Да, — ответил он, — сниму.

Но это оказалось не так-то просто сделать — палец при малейших усилиях отдавался все большей болью. Кольцо намертво застряло.

Но что остановит хитрого грека? Смазав палец Марка оливковым маслом, он обмотал его тонкой ниткой по спирали, кончик с трудом просунул между кольцом и кожей, а потом потянул. И кольцо не сразу, с трудом, но проскочило через сустав, отозвавшийся вспышкой боли, — и слетело с пальца!

Спутница легла в ларарий к Спутнице — кольцо к небольшой статуэтке, которую Марк уже не мог называть иначе. Вечернеосеннее солнце золотило весь атриум и статуи божеств, высоко над ними плыли облака, а по кровле прыгала птичка с длинным черным хвостом, словно вестница небес: теперь-то все будет хорошо!

И радуясь покою и счастьем, Марк по военной привычке подумал: как все-таки крепки и надежны ворота отеческого дома — варвары никогда не переступят этого порога иначе, чем в рабском звании.

Варвары

Через пятьсот сорок два года в эти самые двери (стены сохранятся, а дверное полотно, конечно, будет совсем другим) войдут Ратобор и Гремислав, сыновья Велемира, во главе своей ватаги. Двери окажутся незапертыми — к чему и запирать, если варвары все равно вышибут их или подожгут все здание? Чем меньше сопротивляешься варварам, тем меньше приходится восстанавливать после их ухода. Если, конечно, они уйдут — и если будет кому восстанавливать.

Ратобор постарше, в его бороде появилась ранняя проседь, а в русых кудрях Гремислава ее не сразу и заметишь. Ратобор входит первым, он в кожаном доспехе, в его деснице — боевой топор, а щита нет, он не ждет сопротивления. Его походка слегка пружинит, глаза оценивающе смотрят по сторонам: что взять, где искать спрятанное? Гремислав с мечом и в кольчуге тонкой ромейской работы, он слегка пьян — нынче не от крови, а от виноградного вина, которое нравится ему больше меда и с которого он начинает теперь каждый день, когда может достать. За ними — шесть отроков, даже дружиной не назовешь. Этим утром они решили осмотреть Остров, пока большая дружина Велемира готовится на берегу к последнему броску на юг, к самому теплomu морю. Впрочем, какой бросок будет для этих молодцев последним — не знают даже их боги.

Они обходят комнату за комнатой, отроки лениво крушат статуэтки и вазы. Им из них не пить, а с собой брать нет смысла — слишком хрупки, разобьются в походе. Остров слишком беден, здесь нечем поживиться. В дальней комнате они находят мужчину, тоже с проседью в бороде, он стоит на коленях перед деревянной доской с изображением девушки — раньше они встречали такие в ромейских святилищах, а иногда и в домах.

Девушка нравится Ратобору: светловолосая, с распахнутыми глазами. На шее — нитка голубых бус.

Обухом топора он приподнимает подбородок ромея, молящегося в своей кумирне.

— Кто?

Ратобор немного говорит на ромейском языке. Гремислав тоже умеет, только ленится, да и зачем, когда все самое главное скажет ромеям его меч, остальное добавит их страх, а толмач, если что останется, dokonчит.

— Покровительница нашего Острова, — мужчина не смеет подняться с колен, — я прошу ее о защите. Святая Суламифь. Она же Ирина.

— У нее есть имя? Зачем имя картинке?

— Ей посвящена наша церковь, — отвечает тот спокойно и покорно.

— Покажи! — требует Гремислав по-славянски, — в церкви всегда есть чем поживиться.

— Тут все девки такой красава? — спрашивает Ратобор корявыми греческими словами, не слушая брата. — Хочешь жить, ромей, — поймешь и

ответишь.

Мужчина опустил бы голову, но мешает топор, и он опускает глаза.

— Я могу провести вас к церкви. Мученица Суламифь, моли Бога о нас, да избавимся...

— Пошли! — Гремиславу не терпится, он тоже понял речь ромея.

Четверо отроков остаются обшаривать дом, двое идут с братьями — выносить из церкви добычу. Впереди идет ромей, как будто даже и не боится их — шагает по горной тропе над озером, как шагал вчера и позавчера, когда был он свободен. Или никогда не бывают они свободны — всегда рабы своего царя и своего бога?

— Ты жрец? — спрашивает Ратобор.

— Недостойный иерей Евстафий, — кивает тот.

— Смешно имя. Еф-ста... Глупый имя. Ратобор, Гремислав — всем скажи, господина на ваш Остров.

Но ромейский жрец не отвечает.

— Остров у них годный, — размышляет вслух Ратобор.

— С Салоной^[24] разве сравнить? — удивляется старший из отроков, он уже почти вровень с братьями, может при них говорить без разрешения, — где дворец этого их вождя, Дика... Диколето...

— Диоклетиана, — подсказывает жрец. Значит, понимает по-славянски. И это правильно, добыча должна знать язык своих хищников.

— Салона — Салоной, а тут спокойнее, — отвечает Ратобор, словно и не замечая дерзости отрока. — На Салону много найдется охотников, и новые еще придут. А тут как бы в стороне, и все есть, и глазам не насытиться, парни. Что за край мы взяли мечом!

— Благодарение богам, — подхватывает отрок.

— И мечам, и стрелам, и топорам! — смеется Гремислав.

Они уже дошли до церкви, ромей снимает с пояса ключ...

А Ратобор, не дожидаясь, расправляет плечи, замахивается — топор обухом врезается в деревянную плоть двери, и раз, и другой. На этом острове не было боя, надо же молодцу размяться — сила застоялась в руках! Ромей с глупым именем отворачивается, но никуда не уходит, ничего не говорит.

Братья скоро выходят из церкви — она маленькая и бедная, братья почти нечего. Так, пара сосудов и еще несколько досок с картинками — они забавны, их удобно вешать на деревья и ставить на камни, чтобы метать в них копья и стрелы для упражнения. А еще можно захватить пару домой, для красоты — только где тот дом? Высоки Карпатские горы и прекрасней здешних, прах их прадеда упокоен в тех горах, а с тех пор никто из их рода и не бывал в Карпатах.

— Спустим с него шкуру, пусть покажет золото, — предлагает Гремислав.

— Ты посмотри на него — нет у него золота, — рассудительно отвечает Ратобор, — бедный глупый Евста. Совсем слабый, сил нет.

Он ведь понимает по-славянски, этот ромей, и пусть слышит. Многие тут уже начали понимать. Да и как нас не поймешь, когда мы пришли? Наша Далмация!

— Тогда принесем его в жертву. Смотри, деревьев полно, хороший костер выйдет. Давно не поили мы богов человеческой кровью. Принесем им щедрый дар!

— Э-э-э, — машет рукой Ратобор, — богам потребно лучшее. Старого больного барана зачем богам резать? А мне, пожалуй, пригодится.

— Зачем, брат?

— Хорошее место. Красивое. Спокойное. Не хочешь пожить тут? — неожиданно отвечает тот.

— Я девок теперь хочу, — смеется Гремислав, — три дня девок у меня не было. Эй, ромей, девки где? Девки?

Это слово он знает и по-ромейски. Но ромей молчит и отрешенно смотрит туда, где неяркое осеннее небо встречается с еще теплым морем.

— Девок в деревне найдем. Сами. Думаешь, он нам добрых покажет? — смеется Ратобор, — он небось и не знает, где у них что. До чего же бессильны их боги, ну прямо как они сами — просто сдаются нам, и все. А ты — девки! Да они тут без яиц, ну как тот, евнух из дворца их вождя-василевса.

— Сила Бога нашего — другая, — отвечает ромей на своем языке. Значит, отлично понял, да оно ему и пристало.

— В чем сила, жрец? — Ратобор смотрит на него удивленно. А потом опять поднимает его подбородок своим топором, но на сей раз острием топора. Один жест отделяет теперь жизнь этого ромея от его смерти.

— Ты увидишь. Я не могу объяснить. Но... мои внуки приведут твоих внуков в этот храм на молитву. Это будет. Или правнуки. Обязательно приведут.

— Бедный, глупый, старый жрец, — Ратобор хохочет в голос, — ты очень, очень смешной. Я оставлю тебя жить, без тебя будет скучнее. Дыши!

Братья поворачиваются и уходят, отроки за ними. Не так уж много и поклажи. Оставленный ромей остается у своего разоренного святилища с выбитой дверью — он садится на камень и смотрит, смотрит на эту грань моря и неба, словно может далматинская осень ему объяснить, за какие такие грехи дано ему видеть разорение и не погибнуть мученической смертью, и почему святая Суламифь, она же Ирина, не сберегла сегодня свой остров от варваров, как берегла его весь прошлый год, и позапрошлый, и прежде того — варвары проходили мимо.

— Знаешь что, — внезапно говорит Ратобор брату, когда они идут к селению, — я тут перезимовать хочу. Останешься со мной?

— Зимова-а-ать? — удивляется тот, — да ты что, нет еще ни снега, ни даже дождя! На юг, на юг идем — там знаешь какие города! Афины, Коринф, сам Цареград! Прибьем свои щиты к его вратам, пограбим, а уж девок там сколько, тебе

и не снилось!

— Устал я, брат, — отвечает тот, — в походе с тех пор, как снег с гор сошел. А девки — ну найду я их тут. Думаешь, не хватит?

— А в Коринфе знаешь какие? Помнишь, тот рассказывал, чернявый...

— Да у всех у них вдоль, ни у одной поперек, — смеется Ратобор, — что там перебирать. А тут на доске у него красивая, глянулась мне, наверное, и в деревне — ее внучки. Похожие.

— Брат, да ты всерьез? — Гремислав останавливается посреди тропы, — твое имя Ратобор, что, будешь теперь как этот Фиф-стаф или как его? С твоим именем — на лавке лежать?

— А и полежу до весны, — кивает тот, — и раны, знаешь, болят уже к дождям. Залечу. Тут травы есть. Этот их жрец, может, помажет чем, они на это мастера.

— Ратобор!

— Новое имя возьму, — завершает он разговор, — Радомир. До весны возьму, там посмотрим. Ну и в деревне оставлю пяток Радомировичей...

Двое отроков переглядываются: с которым из братьев? Идти за славой? Греться у очага? Пожалуй, можно пока и остаться, к зиме-то. А уж весной — точно на Коринф...

Этот край пахнет ветром и травами, солью и солнцем. Осень сюда приходит позже, здесь она добрей и ленивей, чем в Карпатах. Но стрелы Перуна^[25] осенней порой разят горы и села, а с ними и наши стрелы — страшны гнев богов и ярость воинов ее жителям, отучившимся воевать. И кто не был жаден палящим летом, того ждет сейчас легкая добыча на осколках остывающих островов среди лазоревых волн. А потом мы решим, идти ли нам дальше, искать ли край краше Южной Далмации, обильно политой маслом, кровью и вином, или остаться здесь.

Озеро. История Марка

Марк мог обходить свои забытые родовые владения, свое дальнее поместье без той торжественности, с которой въезжает в город император. Но какая, в конце концов, разница, что за урод расхаживает по Капитолию, если по этим тропам ступать как хозяин может только он и никто ему не помеха? Даже лично свободные иллирийцы были теперь арендаторами Аквилиев. Они поклонами встречали того, кто забирал по праву хозяина плоды их трудов, кто мог призвать на свою защиту бесчисленные легионы, кто мог даровать им покой или страдание и потому мало отличался для них от бога.

А Марк осматривал, оценивал, с наигранным равнодушием любовался небогатыми садами и виноградниками на склонах холмов, небрежно спрашивал о масле и вине, пробовал мед этого года — в лесу водились пчелы. Мял в руках душистый чабрец и мяту, пробовал травяной настой, а заодно и кисловатое местное вино (нет, не фалернское, конечно). Вполуха слушал Юста с его деловыми мелочами и Филолога с его вечными ужимками.

Только это быстро надоело. Что манило его на самом деле — озеро внутри острова и маленький островок посреди него. Маленький мир. Круг земель — он Веспасианов, и круг вод морских от Геркулесовых столбов до Эвксинского понта^[26]. А это чудо, эта прихоть богов — его, Марка. Все было хорошо, вот только сустав, ушибленный накануне, раздулся еще больше, никакое кольцо не налезет. И Спутницы не было рядом — впервые с давних детских лет.

Филолог, конечно, увязался за ним, а Юст отправился на маслодавилю — что-то там было еще не готово к приему нового урожая маслин, Марк успел забыть что. Шел вдоль берега озера, посасывал травинку и молчал.

Но от Филолога такого не дождешься.

— Мне это только кажется, — грек как будто взвешивал слова во рту, — или ты... разочаровался?

Марк сначала не понял.

— Хороший Остров. Я его совсем не помню. Лучше, чем я ожидал.

— Я не о том, Марк. Я о жизни?

— О жизни?

— Ну да. Она была простой и ясной до какого-то момента: ты воевал за Рим, а Рим рос, хорошел и платил тебе динарии... прости, прости, я знаю, что дело не в деньгах!

Он почти отпрыгнул — так резко повернулся к нему Марк.

— У нашей семьи, — отчеканил он, — достаточно средств, чтобы мне не нуждаться до конца жизни.

— Так ведь это, — усмехнулся Филолог, — именно потому, что Рим растет и хорошеет! Жили здесь, на острове, иллирийские рыбаки и крестьяне, а теперь здесь

вся земля твоя и все доходы тоже. Но я-то не о том. Ты уезжал на войну... ладно, я тебя тогда не видел. Но вернулся ты, как будто проиграл. А ведь ты победитель.

Марк ответил не сразу. Ветер гнал по озерку мелкую рябь, вдалеке плеснула рыбешка, и было ужасно интересно: правда ли в озере живет пара тюленей или врут местные рыбаки? Они, конечно, называли их нимфами, но мы же знаем, кого так нарекает деревенщина, думал Марк.

О чем, бишь, этот грек? О разочаровании. Хм, он не так глуп, как кажется. И можно попробовать объяснить... Нет, не ему — себе. А он поможет это понять.

— Мы... — Марк говорит медленно и как будто даже робко, в первый раз о таком. Нет, бояться и стыдиться было тут нечего. Просто слова не сразу подберешь.

— Мы воевали с батавами. Они тогда восстали. И заодно с ними фризы, лингоны, да, считай, весь тот край... даже из наших легионов кто-то присоединился. Можешь себе такое представить? Легионер на стороне варваров против Рима... Не из Четвертого, конечно. Ну, по крайней мере, я о таких не слышал.

— Ты как будто оправдываешься, Марк, — усмехнулся грек, — в том, что думал больше, чем воевал.

— Так и есть, — вздохнул он, — я тогда впервые задумался.

— О правоте Рима?

— Таких сомнений у меня никогда не было. — Он дернул головой, словно муху отгоняя. — Но в чем смысл? В чем был смысл этой войны?

— Победить врагов!

— Что мне нравится в тебе, Филолог, — рассмеялся Марк, — трудно бывает понять, когда ты всерьез, а когда издеваешься. Ну понятно, что победить. Но вот смотри... Когда Ганнибал стоял у врат Рима или когда нам грозили кимвры и тевтоны^[27] — все было понятно. Вот наш дом, наши святыни, наши семьи — мы, то есть наши деды, за них проливали кровь. И победили, поэтому Рим стоит на месте. А что мы забыли в Батавии? Там, в холодных низовьях Рейна, где нет ни виноградной лозы, ни оливы, ни римского имени...

— Вы несли туда это имя. Вы несли варварам свет знания. Вот смотри, — Филолог, кажется, не шутил, — Цезарь завоевал Галлию^[28] — не о том ли ты просил меня тебе почитать еще позавчера вечером? Галлы были такими же косматыми и голыми варварами, как и эти твои батавы. А теперь там строятся города, теперь там, наверное, растут и маслина, и лоза... впрочем, первой ее завезли в Массалию^[29] еще эллины при Протисе.

— Послушать тебя, так и Рим они основали, твои эллины...

— Не основали, но воспитали. Будешь возражать?

— Нелепо спорить с человеком о том, что ему дороже жизни. К тому же ты, видимо, прав.

— Ну вот смотри. Вы несли германцам римскость. Romanitas. Они, конечно,

варвары, но теперь они приобщены эллинизму и римскости. Их внуки и правнуки будут говорить на наших языках и строить города, как у нас.

— А надо ли им это? Или это надо Риму? Вот послушай...

Мы шли тогда по этому их бесконечному лесу, который, наверно, тянется от Рейна и до края мира. Он не похож на наши светлые рощи — там лишь мрачные мокрые ели, покрытые мхом, и папоротник, и чавкает грязь под ногами. И этот вечный дождь.

И за каждым кустом, возможно, — их лазутчики. Не для центурий этот лес, в него бы посылать союзных нам варваров — но батавы и были теми самыми союзниками, пока не восстали. И поэтому по лесу шли мы.

Я люблю пешие походы, когда шагаешь и вспоминаешь о своем, и думаешь, где разбить лагерь, а конница докладывает тебе, что там впереди и как удобно можно расположиться вот на том холме. А тут, увязая по колено в болотной жиже, вслепую, почти без разведки... Кажется, одна такая миля была тяжелее десяти миль на равнине, да что десяти миль — перехода до самой Массалии!

В этом лесу на их стороне всегда было право первого удара. А на нашей — сила и выучка. И мы топали и топали, чтобы отодвинуть рубеж, чтобы расширить границы нашего круга земель еще на милю, на три, на пять...

Марк ему тогда всего не рассказал. А Филологу и не надо было, он кашлянул, встал в пародийно-театральную позу и начал декламацию на латинском:

Смогут другие создать изваянья живые из бронзы,
Или обличье мужей повторить во мраморе лучше,
Тяжбы лучше вести и движенья неба искусней
Вычислят иль назовут восходящие звезды, — не спорю:
Римлянин! Ты научись народами править державно...

Марк, усмехнувшись, подхватил:

В этом искусство твое! — налагать условия мира,
Милость покорным являть и смирять войной горделивых!^[30]

— «Смирять войною надменных», Марк. Неужели ты забыл главные слова Вергилия — вашего Гомера?

— Смысл один и тот же. Горделивых, надменных... То ли это слово, послушай? Они — дети природы, они бывают яростны, но не надменны. Не про нас ли это? Не про твоих ли ахейцев, не про наших ли троянцев? Мы сочиняем поэмы — они просто живут. Или умирают.

Впрочем, я едва начал свой рассказ. Мы шли тогда к их селению, заранее зная, что не застанем там никого. Крик кукушки, колыхание листьев чуть поодаль — вот и сигналы, что мы обнаружены разведкой. И жди нападения каждый миг. Но

нападения не было, значит, их оставалось слишком мало после прошлой стычки.

Мы вошли в опустевшее селение, где даже собаки не лаяли, где недавно горевшие очаги были залиты не просто водой — похлебкой, которая на них варилась. Они растворились в своем лесу, который для них привычней дома. А мы стали разводить костер, потому что селение надо было сжечь, а значит, надо было по такой погоде побольше факелов, огня посвежее и пояростней, а то не займутся отсыревшие кровли.

Они нашли ее в лесу, когда рубили ель на дрова — одно мучение с этой еловой древесиной, вязкой и смолистой, как дети этой земли. Молодую батавку со сломанной и перевязанной ногой. Потому она не смогла убежать. При ней было двое младенцев, одному, наверное, полгода, другому — полтора. И знаешь, у них уже были обезображены лица. Они наносят новорожденным мальчикам узор на щеки и лоб — режут ножом, чтобы шрамы остались на всю жизнь.

— Бессмысленная жестокость, — вздохнул Филолог, — и полное неумение украсить тело иными, более достойными способами.

— Украшения им ни к чему, — отозвался Марк, — да и смысл в жестокости есть, по крайней мере, для них. Выживают сильнейшие. Лес не прокормит много людей. Ребенок, который погибнет от боли, потери крови или нагноения, не нужен племени. И кто выживет, будет на всю жизнь готов к боли и крови. А больше им ничего и не надо, сдастся мне.

— Это я и называю варварством, — отозвался Филолог, — Аристотель писал...

— Знаю, знаю, — перебил его Марк, — в самом начале этой своей книги про политику писал, что варвары по природе — рабы. Что им свойственно подчиняться, как нам — подчинять. Но не так вышло с этой бабой.

Мои ребята приволокли ее к костру. Двое здоровых младенцев — неплохая добыча, скупщики рабов шли за нами по пятам. Ну, и баба молодая — хотя бы ребятам позабавиться. Я, знаешь, не люблю, когда насильно, куда лучше дать девке монету, она хотя бы изобразит. А ребятам моим некоторым было не до тонких чувств. Тоже, скажешь, варвары.

Филолог только развел руками. Ну кто он такой, чтобы оскорблять легионеров Четвертого? А иначе ведь и не скажешь.

— И вот, — продолжал Марк, — они уже завалили ее, растянули, а младенцев прочь унесли. Младший ревел, старший пытался отбиваться, маленький смешной батав. Бабу работоторговцам тащить бессмысленно, хромая она, да и после ребят... не в цене, нет. И слишком дикая. Детей еще можно научить подчиняться, взрослых, как правило, нет.

А баба эта на своем наречии говорит: «Дайте с детьми проститься, потом хоть убивайте». У нас толмач был толковый, он до тонкостей переводил. Ну, ребята же не звери — отпустили ей руки, вернули малышей. А она... Знаешь, я много видел ран и смертей, я привык. Но этот хруст позвонков стоит в ушах до сих пор. Сильная, свирепая бабища сломала одному шею — и другому! Раз, два — как цыплятам головки свернула. Ребята мои и те ошалели: родных детей!

— Медея^[31], — отозвался Филолог, — варварская Медея.

— И стала она кричать. Мне захотелось понять, почему она так, я дал ребятам знак ее не трогать, пока не замолчит. И толмач переводил слово в слово. Она кричала, что ее дети никогда не будут рабами римлян, что этих она отдала матери земле, и что есть у нее чрево, и чье бы семя ни упало в это чрево, оно родит только батавов. Их воспитает родное племя, их примет родная земля, а когда они уйдут в путь отцов, ее старшие сыновья встретят братьев и сестер, и так будет всегда. И еще про Рим — мой толмач даже не осмелился перевести, но я понял. Это было нетрудно понять. Про то, как ее правнуки прольют семя в чрева римских матрон.

— И что твои воины сделали с ней?

— Я уже не помню. Или убили, или отпустили, но точно не отымели. Они, представляешь, испугались, что у нее там зубы.

— Да, я читал о зубастом влагалище, — серьезно ответил Филолог, — в одной книге говорилось про племя, где женщины не имеют рта и пожирают пищу влагалищами. Мужчины того племени должны придумывать разные хитрости, чтобы их осеменить, и потому женщины правят ими. Но я не думаю, что это племя есть в известном нам круге земель. Как, впрочем, и племя людей с песьими головами — вероятно, такое живет к югу от Египта, ведь египтянам известно нечто подобное.

— Зубы, не зубы... Но я тогда задумался всерьез. Что мы дадим этой земле? Какой «римский мир»? Зачем он там нужен? Неужели эти люди по природе своей рабы в большей степени, чем свора Веспасиана?

— Аристотель не забирался так далеко, — возразил Филолог, вероятно, он имел в виду варваров, достигавших круга эллинских земель живыми. И твоя история отлично показывает, что нерабы к нам просто не попадают. Посмотри хотя бы на тех, которых тебе купили. У кого там зубастое хоть что-нибудь?

Марк рассмеялся.

— Не проверял пока. Но я про другое. Я про тот самый лес, в котором, словно нога в трясине, увязла моя уверенность в правоте Рима. А потом... потом легион распустили. Да, мы признали тогда Вителлия — но кто же не поддержит своего командира? И Веспасиана сразу поддержали его легионы. Но Четвертый ни дня не воевал против него, мы дрались только с батавами. И нас разогнали. Представляешь ли ты, грек, что такое собрать легион? Знаешь ли, что для легионера он навсегда — дом и семья? Помыслишь ли, какой позор — утратить своего орла? У нас отняли нашего орла, наш дом развеяли по ветру просто потому, что Веспасиану он показался излишним. Четвертый легион. Он свернул ему шею, как та батавка — своим детям.

— Я хорошо понимаю твою горечь, — отозвался Филолог, — с моей книжной лавкой произошло примерно то же самое.

— Книжная лавка! — рявкнул Марк, — да вы, греки, и правда обезумели!

— Ну что ты шумишь, — примирительно сказал грек, — ты как будто впервые

заметил, что за Рим воюют римляне с римлянами. А мои книги друг с другом не воевали. Нерона, напомним, сменил Гальба, Гальбу — Отон, Отона — Вителлий, а Веспасиан пришелся уже только на сладкое^[32]. При этом, если я не ошибаюсь, Гальба и Вителлий были забиты до смерти их бывшими воинами, а прочие двое предпочли покончить с собой самостоятельно. И все это случилось едва ли не в один год! Сколько, ты думаешь, продержится Веспасиан?

— До нас на Рейне мало доходило таких слухов...

— А не из вашей ли Галлии солдаты привели в Рим Гальбу? Уж это ты должен был заметить.

— Я и об этом думал, Филолог. Я вернулся в Рим, где не был с детства. Мать похоронена, отец погряз в политике и долгах, в долгах и политике, а точнее — пытается лизать Веспасианов зад и делать это так нежно, чтобы тот не почувствовал никакой шершавости. Как до этого лизал Вителлию, и Гальбе, и Нерону... Ну, и ввиду моей безопасности... или, точнее, собственной пригодности — мне было предложено скрыться подальше от цезаря.

— А что, Марк, если позволен будет твоему верному гречишке еще один дерзкий вопрос, твоя свадьба? Ведь ты же приехал в Рим к невесте, не так ли?

— Девушке из такого рода, — Марк небрежно махнул рукой, — не пристало скитаться ни по рейнским стоянкам, ни даже по иллирийским поместьям. Ей надо блистать в Риме. Свадьбу пришлось отложить.

— Ты скучаешь по ней?

— Это политический брак, ты же знаешь. В нем нет и не будет любви, хотя может появиться удобство и привязанность, а со временем и подходящие наследники. О чем тут скучать? А женские тела найдутся везде.

— Даже в твоей Батавии...

— И уж тем более в Далмации. И еще, мой добрый грек. Ты не привык далеко удаляться от своей Эллады и от Рима, который уже почти что стал ею, если послушать тебя. А что толку? В чем смысл моего служения Риму, если...

Марк только махнул рукой. Он и так сказал больше, чем собирался, — намного больше, чем можно было говорить этому греку. А тот будто и обрадовался...

— Марк, Марк! Я лишь хочу предложить тебе служение более верное и точное: служение Госпоже Римскости. Ну и если позволишь, ее супругу Эллинизму. Эта милая, а точнее сказать, царственная пара преобразит весь круг земель. И даже твои батавы перестанут уродовать и убивать своих младенцев.

— И что ты предлагаешь? Читать твои книги?

— Отчего бы и нет, Марк? Но не только это. Понимаешь, уже то, что мы тут живем, что мы — среди них, много значит. Великие боги...

— Да ты, кажется, их не чтишь?

— Думаю, что мои почести для них — то же, что почести, которые могла бы

воздавать тебе репа в твоём огороде. Тебе нужен просто хороший урожай, а не эти нелепые обряды.

— И ты при этом вчера с глубоким почтением присутствовал при том, как я приносил жертву ларам.

— Отчего бы не почтить старый добрый обычай? Но боги... не знаю про домашних, они, наверное, другие. Но великим богам, пожалуй, нравится играть нами, словно мальчишкам — фигурками воинов. И вот они ставят нас куда-то, где прежде нас не было и где они хотят что-то изменить. И что-то меняется.

— Расскажи местным, что это не я тебя взял сюда развеять скуку, а боги поставили — служить господину Эллинизму. Они даже не поймут.

— Не поймут, — согласился Филолог, — как и репа не разбирается в приготовлении похлебки. Но сгодится именно для нее. Так и мы с тобой. И посмотри — Далмация давно уже не тот дикий край пиратов, которым был когда-то.

Марк ответил серьезно:

— Я не будут спорить — может быть, здесь союз Римскости и Эллинизма и принес какое-то потомство. Может быть, дикие иллирийцы чему-то и научились от нас. Хотя что нам до того? И согласны ли бы они были обменять свою свободу на эти перемены? Впрочем, мы и не спрашивали их. А Далмация слишком похожа на Италию и слишком близка к ней, чтобы оставаться собой.

Но совсем иное там, в Германии... Как та батавка кричала, что ее дети никогда не будут рабами, я откровенно и честно могу тебе обещать: никогда римляне и германцы не будут ни союзниками, ни соратниками.

Соратники

Через тысячу восемьсот семьдесят один год гауптман Фридрих Шенберг и капитан Чезаре Джилярди будут прогуливаться вдоль этого озера, радуясь теплему осеннему деньку. Береговая линия изменится за эти годы несильно, но в голубой воде внутреннего озера появится морская соль: его соединят с морем узким каналом, погубив пресноводную фауну и флору ради удобства навигации. Но все так же спокойные его воды будут прогреваться на солнце даже и в эту пору года.

— Чезаре, искупаемся?

Фридрих — образцовый тевтон. Он высок и белокур, черты лица правильные, мундир вермахта сидит как влитой. По-итальянски говорит с легким акцентом. Когда идет, чуть заметно прихрамывает на левую ногу — не настолько, чтобы это портило красоту, но ровно настолько, чтобы надежно ответить на вопрос «почему вы не на фронте».

Чезаре пониже, он смуглый даже для итальянца, и его признаки ранения куда менее благородны — он заикается, время от времени подергивается правая половина его лица. Притом она не улыбается вместе с левой, и потому Чезаре прячет улыбки — по крайней мере, когда на него смотрят. Особенно когда смотрит Фридрих.

— Вода х-холодная, — отвечает он равнодушно. Но тевтон, кажется, опять его опередил.

— Это для вас, детей юга. Для меня в самый раз — у нас на Остзее^[33] редко бывает теплей.

Не дожидаясь ответа товарища, он начинает раздеваться, аккуратно складывая форму на плоский прибрежный камень.

— Я промерз, Ф-фридрих, в России. На всю о-оставшуюся жизнь.

Вот этим он превосходит своего тевтонского друга. Тот не провел в России ни одного зимнего дня. Ни одного.

— Наслышан, — с уважением отзывается тот. Он уже разделся донага, он стройный, хоть и чуточку начал полнеть. На груди косой шрам. И еще следы обширного ожога от левого бедра и ниже. Теперь все понятно про хромоту.

— Это ведь в Р-россии? — спрашивает Чезаре, кивком показывая на ожог.

— На груди — еще в Польше. А нога — да, в России. Сразу как вошли, не успел повоевать. Знаешь эти их чудища, КВ^[34]? Один из них, уже без топлива, устроил засаду. Поджег транспортер, меня еле вытащили ребята. Долго потом лечился. Ожоги — страшная гадость.

Фридрих неторопливо входит в воду по пояс, отталкивается, плывет кролем. Чезаре невольно любуется его статью, молодым и свежим телом. А шрамы — они только украшают мужчину. Можно ли сказать Фридриху, как тот красив? Он наверняка поймет все так, что германцы опять оказались лучше. Или даже так, что... они все-таки не то что римляне, они не привыкли ценить мужскую красоту без

оглядки на Эрос. А хотя бы даже и с оглядкой — разве не вправе боевые товарищи скрепить свою дружбу на спартанский манер? Платонически, как в «Пире»?^[35]

Фридрих переворачивается на спину, любуется небрежным профилем гор на фоне безмятежного неба. Никаких взрывов, бомбежек, атак. Он делает несколько широких гребков, а потом снова поворачивается на живот и плывет к берегу. Вода действительно прохладная, долго тут не поплаваешь. Даже после двух чарочек траппы, или как она тут называется — лоза? Одно слово — шнапс.

— А после госпиталя, — продолжает он рассказ, выбираясь на берег, — для русского фронта я уже не годился, но попросил оставить меня в строю. Отец, дед, прадед стояли в строю — куда же мне еще? Так что охранные войска. Немного было обидно, что так и не войду в Москву, но тебе ведь тоже обидно, что не придется пройти по Сталинграду, не так ли?

— Обидно, — ответил Чезаре. Капли на теле Фридриха отливают жемчугом и серебром, его легкий северный акцент придает его речи еще больше очарования, но, но, надо говорить о другом. — И все же я рад, что еще одну зиму не придется проводить там, на Дону или на этой Волге. Они как скифы, ты ведь читал Геродота? Они заманивают нас в свои степи, чтобы мы вымерзли. Оголодали, но прежде того вымерзли. Знаешь, это было...

— Наслышан, — кратко отозвался он. — Зато здесь нам крепко повезло с климатом. С детства учил итальянский, и вот видишь — пригодилось, послали не в грязные местечки Литвы или Волыни, а туда, где мы вместе можем послужить фюреру и дуче. Двум нашим народам.

— Бороться с народом номер три? — усмехается Чезаре.

— А нет никакого третьего, — холодно отвечает Фридрих. Он уже немного обсох и, неловко стоя на больной ноге, натягивает белье. Ему трудно, покалеченная нога почти не сгибается. Помочь ему, поддержать? Взять его за локоть, даже, может быть, приобнять, вдохнуть этот аромат промытой морем кожи, прикоснуться к шраму под соском — неужели от легендарной этой польской сабли? Они, говорят, бросались с саблями на танки, эти бедные польские герои... Фридриху трудно, но он настоящий боец — не жалуется и даже не стесняется ран, как Чезаре. Нет, нет. Он бы попросил его поддержать, если бы ему это было нужно. Если бы было можно.

— Нет никакого третьего народа, — подтверждает Фридрих, — только сброд, партизаны. И тесто, из которого вы будете печь новых итальянцев. Теперь ведь тут Италия, верно? А эти славянские недомерки даже не догадываются, какая высокая честь им оказана: быть принятыми в народ древних римлян! Бесплатно!

Фридрих сам даже не догадывается, что подобная история случилась с его давним предком Исааком, торговавшим некогда по всей Адриатике. С Венецией ему-таки повезло, но остались некоторые неисполнимые обязательства и непреодолимые обстоятельства. .. Короче говоря, Исаак под старость перебрался в город Данциг и почти дожил до дня, когда его правнучка (что было делать бедным евреям!) вышла за доброго бюргера по фамилии Шенберг. И Чезаре не знает о Милице из Радомировичей, что вышла некогда замуж через море в семью Джилярди... Оба

вернулись на родину предков, оба ее не признают своей.

А на ближнем холме чуть шевелится при полном безветрии куст, но приятели этого не видят. К старости Бато стал дальнозорким, для чтения нужны очки — да только что ему тут читать? Старые книги прочитаны все, к новым газетам и притронуться мерзко. Но путь сокола в небе, путь рыбы в море и путь двоих мужчин в чужих мундирах он видит ясно и издалека. Их только двое, ему понадобится всего три выстрела, они даже не успеют ничего понять. Сначала он ранит одного из них, лучше голого, и когда тот, другой, склонится над ним, получит пулю в голову или в корпус, уж как повезет. А потом можно будет добить первого.

Еще на Первой Балканской^[36] взводный сразу приметил, как стреляет Марко Радомирович по прозвищу Бато. Он и не знал тогда мудреного слова «снайпер» — в горах Ловчена^[37] это называлось просто «охотник». И на Второй Балканской, и на Первой мировой, и на той, которая все никак не кончится, — Бато продолжал свой счет. И снова, как тридцать лет назад, надо делать поправку на ветер и слушать собственное сердце, чтобы плавно и нежно нажать на курок между двумя ударами. Сердце не торопится — оно живет на своей земле. И кто же знал, что острова и заливы, где Бато хотел греть у моря старые кости, пока их не зароят в землю, станут его новым полем боя?

Их всего двое, он успеет. Но тела останутся на дороге, разве что Бато скинет их в озеро — но их выловят и опознают. Остров под итальянцами. На остров нагрянет карательная экспедиция. Бато не может подвести своих теперешних односельчан, ведь тогда счет убитых будет не в пользу народа. Вот если бы дожждаться, пока за этими двумя придет лодка, а когда отойдут от берега, бронебойным — в мотор. Еще лучше зажигательным в бензобак, но это труднее. Остановить лодку на чистой воде, а там, метров за сто от берега, им не доплыть. Нет, не доплыть, патронов у Бато много.

Да, но слышны будут выстрелы. Погода тихая, звук разносится далеко. Итальяшки прочешут весь берег, и пусть Бато знает, где укрыться, — карательная экспедиция неизбежна. Нет, до следующего раза... Или вдруг? Ведь бывает же чудо? Ну, например, вчера низко над морем шло звено бомбардировщиков с хищными крестами на крыльях, за их гулом не слышно никаких выстрелов. Разве попробовать? Пресвятая Богородица, помощи. Святая Мира, моли Бога о нас...

Бато, говорит он себе, ты красный. Какая тебе святая? И кто такая эта самая Мира, которую поминают порой старухи — и уже ни одна не может объяснить, что за святая тут такая взялась на острове? И какое отношение она имеет к работе снайпера? К борьбе народов Югославии за светлое будущее против фашистской оккупации? А вот поди ж ты, вырвалось.

Но, с другой стороны, это же ее остров, так говорят старухи, и теперь этот остров стал родным и для Бато тоже, как был для его предков — ведь и он Радомирович. Ему теперь сгодится любая помощь. Не будут они помогать, Богородица и Мира эта, которая у старух еще почему-то и Ирина, ну и ладно. А все-таки вдруг? Охотнику нужно терпение. Охотнику за вражьими головами — втройне. И Бато тихонечко отползает в сторону, сменить позицию.

— Это теперь Италия, — соглашается Чезаре, — а почему ты отвез меня именно на этот остров? Я никогда прежде не был в Южной Далмации. Я из Апулии.

— Вот потому и отвез, чтобы ты после отпуска, после контузии своей посмотрел на их мирную жизнь. Смотри, здесь не было ни одной акции, ни одной операции. Они живут тут как во времена древних римлян, ловят рыбу, пасут своих коз, мед достают из ульев, дают масло и вино. Тут не просто хорошо — тут нет войны. Нет совсем.

— Да, я отвык от этого, — кивает Чезаре, — там, в России, война везде.

— Жить мирно люди должны на каждом из этих островов, и мы с тобой этого добьемся. Завтра сплавим на еще один остров...

— Сходим, — поправляет Чезаре, — моряки говорят «сходим».

— Отлично, — Фридрих уже одет по форме, — к югу отсюда. Совсем небольшой островок, запирает вход в бухту, в которой стоял каждый военный флот из всех, что перебивали здесь. Там остался старый австрийский форт, теперь тюрьма для партизан. Бежать некуда. Ждать нечего. Покориться или погибнуть, их выбор. Наша работа.

Чезаре пытается улыбнуться, но половина лица отзывается тиком. Еще и еще раз.

— Контузия — мерзкая штука, — сочувственно говорит Фридрих, — но, знаешь, многие восстанавливаются. Может, к параду победы снова будешь в строю.

— Я и тут в строю.

— Там, где мы нужнее Отечеству, верно, — Фридрих отвечает правильно, как привык. Они же не настолько знакомы, чтобы говорить с ним по-свойски, понимает Чезаре. Это еще впереди. Много жарких дней в горах Далмации, в ее бухтах и на ее островах. Но это надо заслужить, это не сразу.

— Я понимаю, почему ты привез меня сюда, — благодарно говорит Чезаре. — Там, на другом острове, мы будем богами. На острове, где тюрьма. И на материке, где партизаны. Мы будем там богами, а сегодня у нас выходной — мы просто люди. Прекрасное место, спасибо. И я слышал, ты заказал осьминога на обед?

— Постой... — Фридриху словно что-то было непонятно, — причем тут боги? Просто мы офицеры.

— Все боги умерли, — отвечает Чезаре и намечает первый шаг в их недолгом пути назад, в деревню, где их уже ждут осьминог и прохладное домашнее вино, — как писал ваш Ницше.

— Допустим. — Фридрих поправляет мокрые волосы и надевает фуражку, он шагает на полкорпуса позади, как и положено гостеприимному хозяину. — А причем тут мы?

— А мы заняли их место. Временно исполняем обязанности.

— Прости, Чезаре, — Фридрих даже остановился от неожиданности, — необычные мысли для выпускника католической школы! Я смотрел твои бумаги, ты

же понимаешь.

— Да, школа, — Чезаре отвечает не сразу, а молчание итальянца что-нибудь да значит. — И про смерть богов я понял все как раз в этой треклятой школе. Там было чуточку получше того твоего островка. Сначала я думал, что добрый боженька Иисус нас постоянно видит и строго следит, чтобы мы не ели по пятницам колбасу и не дергали себя за писюны.

Фридрих только хмыкнул в ответ.

— А потом я понял: он на самом деле давно уже умер, если вообще когда-либо существовал. Это наши добрые монахи присвоили себе право быть богами. И распоряжаться колбасой.

— И пацаньими писюнами? — Фридриху отчего-то ужасно весело.

Он так искренне смеется... Только что он в этом понимает! Чезаре делает несколько шагов вперед, словно хочет увеличить дистанцию, и хорошо, что смуглая кожа не краснеет. Ну, или почти не краснеет — так, чтобы было заметно.

— Прости, товарищ, не хотел обидеть, — Фридрих догоняет его, — но мы-то, мы-то тут при чем? Мы просто выполняем свою работу. Ну я понимаю, ты можешь назвать богами дуче и фюрера. Кто-то из пропагандистов так, может, и делает, хотя это явный перебор. Есть раса, есть культура, цивилизация, порядок, государство. И мы им служим. Мы лепим из этого материала новую великую Европу. Но мы строители, не боги.

— Дуче я благодарен за то, что он освободил нас от этой прилежной католической чуши, он объяснил мир проще и лучше. Но даже дуче не знал, что в России мы будем богами. Мы — боги. И все мы дети Всевышнего, как говорится в одной старой глупой книжке. Вот это я и увидел. Ты там был недолго, просто не успел разглядеть.

— Поясни, товарищ. — Фридрих вскидывает брови. — Я так понимаю, что с Иисусом там тоже покончили, у них там Сталин и Маркс. И собственно, вся наша борьба ради того, чтобы свою волю этой части света диктовали мы, а не эти большевистские варвары. Но разве мы боги?

— Да, мы там голодали, холодали. Да, нас кромсало железом. Но знаешь, были богами. Там, на этом их Дону.

— Ну, может быть, для евреев... И то я бы назвал это техническим решением перезревшего вопроса... Хотя им мы кажемся, наверное, чем-то вроде их разгневанного Саваофа, а главное, там, в России, вопрос решали обычно добровольцы из местных, наши самое большее стояли в оцеплении. Но мы же разумные люди, для нас это все лишь патетика, Чезаре, она мешает работать.

— Хорошо, я расскажу, — отзывается тот. — И было это так. Был вечер. И была ночь. И одна местная девчонка стащила пару банок тушенки с нашей кухни. В том селе, где мы тогда стояли. Ее сцапал патрульный и притащил в штаб роты — ну, в то, что мы тогда называли штабом, просто маленький бедный домик глупых крестьян. Девчонка была такой же глупой и голодной, а еще молодой и красивой. И

все было очень просто. Мы могли ее расстрелять за кражу воинского провианта, или повесить, или просто выпороть и отпустить. Но солдаты, конечно, ждали совсем другого решения. Ты же понимаешь, о чем я?

— Разумеется, понимаю, — отозвался Фридрих, — но я бы не стал такого поощрять. Расшатывает дисциплину и негигиенично. В конце концов, есть солдатские бордели, там девчонки проверены, а от этой еще неизвестно, что можно подцепить. Не говоря уж о том, что от отчаяния они иногда могут нанести серьезное увечье, вывести бойца из строя.

— И вот тогда я понял, что я — бог, — невпопад отвечает итальянец. — Я могу сделать с ней что угодно. Никто, кроме меня, не властен над ее судьбой. Даже наши монахи в той школе перед кем-то отчитывались, я — только перед собой.

— И что ты решил?

— Приказал отпустить. Я подумал, что отомстить этим монахам могу только одним способом: стать настоящим богом, милосердным и всепрощающим. Они нам лгали про него. А я им стал. Хотя бы для девчонки. Как раз за день до контузии.

Фридрих отвечает не сразу. Да, контузия иногда вызывает смещение мозгов. Ничего, на свежем воздухе он быстро пойдет на поправку. Мозги вправляются быстрее суставов. Особенно после первой карательной акции...

— Зря отпустил, — все же отвечает он, — другие солдаты из соседней роты все равно поймут и будет то же самое. Ты не всемогущ и не всеведущ. Верно, мое маленькое ротное божество? Мой маленький лар, ларчик мой! Х-ха, видишь и я читал о Риме...

— Тогда был всемогущ и всеведущ, — отвечает не в лад Чезаре, снова краснея от неожиданного комплимента Фридриха, — и уж точно всемогущ.

Фридрих идет есть осьминога и не знает, что ему ответить. Он часто брал на войне то, что можно было взять, в том числе женщин. Но часто брал меньше или мягче, чем мог, или платил за взятое (обычно едой), или даже спрашивал согласия, по крайней мере, во Франции. И не настаивал в случае отказа. Но при чем тут божественность? А этого приятного, хоть и несколько уродливого итальянского капитана все же крепко приложило — взрывной ли волной, католической ли школой. Ничего, пооботрется.

Чезаре идет пить вино и не знает, соврал ли он своему боевому другу. Кажется, нет. А может быть, и да. Контузия смешала осколки воспоминаний — или то была не контузия? Последние дни, а может быть, недели, или даже месяцы, или вся эта вечность на Дону слились теперь в какой-то поток образов, запахов, звуков. Теперь его несет по этому потоку, и он не помнит, как он когда-то по нему свободно плыл, словно нагой и прекрасный Фридрих, и даже командовал ротой в этой смеси чавкающей грязи, холода, разрывов, криков, дыма, пота, крови, и снова чавкающего, жирного, вездесущего и всемогущего русского чернозема. Чернозем заклеивал колеса техники и мундиры солдат, он мешался с обедом в котелке, в него падали при обстреле и в него же зарывали убитых.

Он помнит разве что какой-то дырявый сарай: мерзкая задница, волосатая и

прыщавая, дергалась в остром приступе предсмертного наслаждения, тело под ней не шевелилось и не издавало ни звука, а трое других солдат стояли поодаль, один с уже расстегнутыми штанами — вся жажда молодой немытой плоти наружу. И хлюпал под ногами чернозем. Что он сделал тогда? Кто была та женщина — девчонка, старуха? Была ли то вообще его рота? Была ли то его жизнь? Он теперь не уверен. Но если бы вышло так, как он рассказал Фридриху, он бы так и поступил. Теперь.

А там, за холмом, старый Бато тихонечко занимает новую позицию. Ранней осенью начинается пора доброй охоты, и гулкий звук выстрела разносится далеко по горам. Грозы и завывания ветра, валящего с треском деревья, еще далеко, но скоро придут и они, чтобы спрятать пороховой гром и дать тем, кто не был тороплив в октябре, подстрелить своих врагов. И если есть на Земле Южная Далмация — значит, она будет социалистической, югославской.

Жаровня. История Луция

На Острове зарядили унылые дожди, и все бы ничего, если бы не борей — северный ветер мог дуть целыми днями, и тяжелые дождевые струи неслись почти параллельно земле. Стоило выйти за порог, и казалось, будто ты только что упал в море — нитки сухой не было на теле.

В двух местах дома протекла крыша, и бессмысленно было ее чинить под леденящим ветром, хлещущим дождем, — нужно было просушить кровлю прежде, чем перекаладывать черепицу и мазать ее смолой. А внутренний двор усадьбы и вовсе заливало, как лачугу рыбака во время шторма. Система стоков не справлялась, и не прочистить ее было по такой погоде — пришлось бы снимать полы, пробивать все насквозь.

Вот оно каково, приезжать в усадьбу после десяти лет отсутствия... Двенадцати? Сколько их было? Сколько стоял этот дом в ожидании хозяев, сколько правил им Юст, посылая в Рим скудную прибыль? И не отдохнуть было Марку после батавских походов, не понежиться у огня.

Впрочем, все эти неприятности были сущей ерундой по сравнению с тем, что только что случилось.

В дальней комнате сидели они у жаровни — Марк и его местный гость. Один из немногих на Острове, с кем стоило говорить о боях и походах, кто знал им цену, кто завоевывал для Рима круг земель, кому было можно довериться и кто отчего-то носил непривычное, чуждое имя...

— Десятник Пятого Македонского Луций Габиний!

Тот поднялся, вскинул руку в приветствии — слишком медленно из-за покаленной ноги, и было видно, что не по легионерской только привычке, а еще и потому, что было радостно стоять десятнику перед центурионом, как в старые добрые времена, когда он был нужнее Риму, чем сейчас.

— Ты нужен мне, Луций, — обыденно начал Марк, — очень нужен.

— Я приложу усилия, Марк!

— В этом доме произошла, по-видимому, кража. Бессмысленная и безжалостная, как бунт батавов. Украдено... золотое всадническое кольцо.

Не говорить же при нем «Спутница»?

— То самое, Марк, которое было на твоей руке в день приезда?

— Именно. Ты заметил на нем изображение?

— Приметил, но не запомнил точно. Девушка, кажется?

— Именно так.

— Необычная работа.

— Вот именно. Поэтому мне трудно понять смысл этой кражи. Любой, кто

попадется с этим кольцом, выдаст себя с головой. И переплавить его в кусочек золота тоже будет непросто. Я мог бы понять кражу золотой монеты, но всадническое кольцо? ! Это преступление не только против меня, хозяина дома, — против Рима и вечного порядка вещей.

— Почему ты решил, что это кража?

— Я обнаружил исчезновение кольца этим утром. Я повредил сустав, Филолог уговорил меня снять кольцо и положить в ларарий в атриуме, где его схватить мог всякий — кто, конечно, не боится мести ларов...

— Ты подозреваешь его?

— Я подозреваю всех. Но никто не сознался, и ни в чьих вещах кольцо найдено не было — только что мы перевернули весь дом. Но я особо и не надеялся. Кольцо, несомненно, спрятали вне дома, и не найти, под каким камнем, в каком древесном дупле. Единственный способ его вернуть — не дать ему уплыть с Острова. А на Острове оно для вора бесполезно.

— Мне тщательно обыскивать всех отплывающих? Но... это невозможно, Марк. На Острове много рыбаков, они каждый день выходят в море.

— Если знаешь, где они могут прятать ценности, — обыщи, если знаешь, кто ворует и скупает краденое, — допроси. Но главная твоя задача, Луций, такая: объявить по Острову: тот, кто вернет мне кольцо целым и невредимым, кто принесет его сюда или укажет точно, где его найти, получит его двойной... нет, тройной его вес чистой золотой монетой и не будет наказан. Если раб — получит свободу. А тот, у кого оно будет найдено, пожалеет, что родился на свет. Если раб — сразу на крест. А и если свободный... если свободный — не лучше.

Далее, обойти всех кузнецов, всех, кто может переплавить кольцо, чтобы оно утратило облик. Предупредить о том же. Всех, кто ведет торговые дела с материком. Кто собирается отплыть надолго. Найти кольцо почти невозможно, но можно сделать так, чтобы о нем донес любой, кто увидит. Объяви это им. Не забудь сказать про свободу или крест.

Луций ударил кулаком в грудь в знак принятия приказа. Но сделал это как бы нехотя, словно приказ был тягостен и глуп. Ах да, их суеверие связано с кем-то, кто умер на кресте и кого они почитают чудотворцем. Поэтому ему неприятно думать о подобном. Что ж, он доверил Луцию поиски самого дорогого — теперь пора узнать его историю.

— И еще одно, Луций. Расскажи мне, как ты стал Симоном. Это ведь иудейское прозвище, не так ли?

— Пожалуй, — согласился тот, — но это долгая история. Ты готов ее выслушать сейчас? Или мне поспешить на поиски кольца?

— Часовая беседа ничего не изменит, — отозвался Марк, — и говори свободно. Нас здесь двое, никто не услышит твоей тайны. И времени у меня сколько угодно.

— У меня тоже, — снова улыбнулся тот, — особенно если подумать о том, что впереди вечность.

— «Вечность» — это просто такое слово. Ты не знаешь даже, где заканчивается круг земель и что лежит за его пределами, а что скажешь о времени, в котором не жил? Хотя мой болтливый греческий друг где-то вычитал, будто Земля — не круг, а шар, но я в это не верю. Как бы тогда на шаре удержались моря? Они бы стекли. Да и кто держит этот шар?

— Тот же, кто и круг, — отозвался Симон, — я простой воин и не могу знать таких вещей. Может быть, прав твой друг, а может, нет, мне нет заботы. Но ты спросил про мое прозвание.

— Да.

— Сперва у меня было другое.

— Я так и думал. Ты же из римского рода.

— Меня звали когда-то Йовином, в честь Юпитера. Еще родители так называли.

— Прекрасно и по-римски.

— Да, конечно. Но я не могу теперь такое носить. Как не могу, прости, почитать твоих ларов или любых других божеств.

— Я слышал, — рассудительно начал Марк, — что эти суеверные иудеи верят в какого-то ревнивого бога. Ему важно, чтобы они почитали его одного. Наши отеческие боги не потеряют ничего, если мы совершим возлияние Митре или Озирису — в конце концов, было бы грубостью получить те земли, где их почитают, и ничем не воздать им. С древнейших времен наши праотцы в начале любой войны приглашали к себе божеств противника — не потому ли они и завоевали сперва всю Италию, а теперь и без малого весь круг земель? Или шар, или что там есть... Все стоящие божества на нашей стороне, это очевидно.

А вот это иудейское божество, как ты сам видишь, лишило своих поклонников даже того клочка земли, которым они обладали. Да ты не просто видел это — ты участвовал в той войне. Ярko ли горел их храм в Иерусалиме, скажи?

— Говорят, что ярко, — безразлично отозвался Симон, — но меня там не было. Меня тогда уже покалечили.

— Небось, иудеи?

— Мятежники, да, — так же спокойно ответил он, — думаю, они были иудеями. Но я не из их числа, Марк. Я христианин.

— Слышал что-то об этой секте и знаю, что многих ее приверженцев казнил «божественный» Нерон, — Марк отвечал как бы небрежно и безразлично, а положенный титул произнес с нескрываемым сарказмом, — только после всех его, кхм, причуд трудно согласиться с неоспоримостью его решений. И кажется, есть подобные тебе даже среди моих здешних рабов. Но ты, природный римлянин и воин? Зачем тебе это иудейское суеверие? Я не упрекаю тебя, Луций Габиний, ты честно сражался за Рим и пролил кровь. Но как они победили тебя в делах божественных? Как триумф Юпитера Капитолийского над этим иудейским божком лишил тебя почтенного имени?

— Марк, я не слишком искусен в словах.

— Тем лучше. Красивыми словами меня завалит Филолог. Сообщи мне суть.

Луций-Йовин рассказывал об этом дне раз, наверное, сто. Они только что сменили на придорожной заставе своих товарищей из другого десятка. Задача была проста — проверять проходивших. Подозрительных отправляли в центурию, а кто с оружием, тех приканчивали на месте. Хотя кто у них не подозрителен, в этой-то их Иудее? Иудеи тогда еще не поняли, что проиграли эту войну уже тогда, когда они объявили ее Риму, и пытались хоть что-то изменить в начертаниях Судьбы.

Йовин был тогда старшим. Впрочем, какой Йовин — в центурии его звали Косоруким, очень уж ловкий был у него косой удар мечом из-за щита, мало кто из варваров успевал отбить или увернуться. У легионеров свои прозвища — когда ходишь рядом со смертью, негоже ее дразнить пышными именами. Вот и обзываются кто как умеет, вроде как дети, только сами про себя...

На страже стояли Горшок и Крыса, еще двое отдыхали, а Косорукий отошел развести костер — вечера были холодные. Предыдущая смена оставила им обрывки каких-то иудейских свитков на растопку, но папирусов почти не было, один старый пергамен, а такой на растопку не больно-то годится. Уходили смененные товарищи что-то слишком довольные и вроде как при хороших деньгах, только ничего не объяснили. Подозрительно все это было, ох как подозрительно... но Йовин-Косорукий слишком увлекся костром.

Этих он тогда даже не сразу и заметил. Шли какие-то люди с ослом — старик вроде, пара женщин, мальчишка. Он обернулся в их сторону, лишь когда услышал даже не крик, а короткий всхрип — Крыса уже лежал на земле, а Горшку вгонял в горло нож тот, кто сперва казался теткой.

Йовин заорал, хотел подхватить меч и шлем — снял их, пока возился с костром, — но из-за придорожных кустов выскочили еще двое и началась дикая свалка, в которой Косорукий мог бы и победить, если бы не тот удар сзади по голове.

Он выплывал к свету долго и трудно и сперва не мог вспомнить даже, как его зовут. Слова родного — или любого другого языка — не вмещались в разбитой голове. Первое слово, которое выплыло из забвения, было aqua, «вода». Она была холодной, прозрачной и чистой, его поил какой-то незнакомый человек и говорил с ним ласково и просто, как родители в детстве.

А потом он понемногу начал все вспоминать и складывать свою память воедино, как составляют из цветных камушков мозаику. Но что-то не складывалось в голове.

«Вы союзники Рима?» — спросил он, еле ворочая одеревенелым языком, когда тот поил его в следующий раз, и уже не водой, а ароматным куриным бульоном.

«Мы не за Рим и не против него, — усмехнулся тот, — мы ученики Иисуса, а царство Его не от мира сего».

«Почему тогда»... — а больше выговорить он не смог. Не помнил нужных слов, или горло не выталкивало звуки, или сознание так и не могло подняться со дна

глубокого колодца, куда провалилось оно на том проклятом перекрестке.

Но Симон — а того чужака звали Симоном — все понял и так. И рассказывал долго и подробно какие-то, сначала казалось, сказки, как шел некий человек из Иерусалима в Иерихон и попал в руки разбойников и как подобрали его, перевязали, ухаживали за ним то ли сам Иисус, то ли Симон, то ли их ученики. А может, все они вместе, но в этот раз раненым лежал у дороги Йовин. И значит, подобрали его.

Симон скоро пропал, пошел по своим делам куда-то дальше. Но с Йовином остались другие. И сила его росла. Дней через десять стал выходить во двор, через месяц попросил отвести его к своим. Но сначала хотел он во всем разобраться...

Иудеи оказались неожиданно сильны, они защищали свою страну, как раненая львица защищает детенышей. Но нет такой силы, которую не сломил бы Рим. А эти странные люди были ни за и ни против, они говорили слово «ближний» там, где иудеи и римляне говорили «наш» или «враг». И суть была в том, что этот их Иисус умер за всех сразу, ему было как-то все равно, он не делил людей на своих и врагов. И только потому остался жить Йовин Косорукий, ну еще и потому, конечно, что кто-то спугнул тех мятежников, не стали они перерезать ему горло, как Горшку. А может, сочли ужедохлым.

Он и правда умер на той дороге, Йовин Косорукий. И когда через два месяца с небольшим, хромя, из последних сил вышел к своим, без оружия и доспехов, и не до конца зажившие раны засочились сукровицей, он уже был другим человеком и имя у него было другое. Но он давал присягу Риму и не собирался ее нарушать.

— Спас меня тогда один этот, — скупорассказал он, — подобрал на дороге чуть живого после зилотов^[38], это которые на нас из-за угла нападали. По голове меня долбанули, без сознания я был. А он выходил. Звали его Симон.

— Иудей?

— Не знаю точно... Но вера у него другая.

— И ты в благодарность принял его имя как свое прозвище?

— Примерно так, Марк. Но все сложнее. Я веру тогда принял.

— Да, — согласился Марк, — долбанули тебя, видно, крепко.

— Ну, в общем, я принял омовение... как они это называют.

— Что-то вроде таинств Диониса?^[39] — усмехнулся Марк. — Или Доброй Богини?

— Ну, или Митры, как в легионах, да.

— И меняют имя?

— Нет, меняют жизнь. А имя я сам сменил. Ну как теперь я буду Юпитеровым зваться, если я — не его?

— Благие боги! — воскликнул Марк, — нет, определенно ты пострадал от того удара, Луций. В этом нет позора для ветерана, это почет. А как ты попал обратно к нашим?

— Так выздоровел понемногу. Смог с трудом ходить, сам пришел. Уже крещеным. Разбирались потом долго, что там было на дороге, почему утратил оружие. Ничего, обошлось. Я вот только волновался: мне же вроде нельзя теперь людей убивать. Риму служить можно, в этом греха нет, если честно и никого не обижать. А врагов убивать? Я с Симоном так и не успел о том потолковать.

Но обошлось, сам видишь, какой я теперь. Ветеран. Вот только на постовую службу и гожусь. И удар мой косой знаменитый — с тех пор не было его, удара. Ни разу. Хотя мог бы, конечно, повторить, меня ж за него Косоруким прозвали. Только строй держать трудно с моей-то хромотой да с корявыми пальцами. Не гожусь в центурию. А тут дослуживаю, да. Риму на славу. И Богу моему пою, знаешь, как хорошо поется над морем? Нет никого, только Он и я. Вот благодать!

— Как ты сказал? — Марк рассмеялся, — «благодать»? Еще одно ваше словечко? Его надо омыть подогретым вином. Эйрена, эй!

Она появилась моментально из-за ближней занавеси. Слишком быстро для усердной рабыни. И слишком сияло ее лицо.

— Подойди, — в голосе Марка зазвучала угроза. — Ты подслушивала?

— Нет, господин. Я просто была там, убирала комнату, я не нарочно...

— Но ты слышала?

Она вздохнула.

— Да, господин. Я не знала, что нельзя.

— Я хочу немного подогретого вина, мне и Луцию. И еще я хочу, чтобы ты стерла со своего лица эту дурацкую улыбку. Здесь нет ничего смешного.

— Прости, господин, я не улыбаюсь, я просто радуюсь рассказу моего бра...

Звук хлесткой пощечины оборвал слова, она отшатнулась, едва устояв на ногах, закрыла ладонью пылающую щеку... А ведь она и вправду не улыбалась. Она, кажется, в рабстве разучилась это делать.

— Никогда, запомни, никогда иудейская рабыня не смеет называть братом свободного сына Рима.

— Прости, — прошептала почти беззвучно, давась слезами.

— А теперь подай вино.

Симон молчал, пока она не вышла из комнаты. Кто же будет спорить с господином о его рабах в их присутствии? Разве не вправе он распоряжаться своим имуществом? Но затем тихо сказал:

— Я не обижен, Марк. У нас принято называть друг друга братьями и сестрами. К тому же она для меня не иудейка, она христианка. Не вини ее.

— Должен прежде всего быть порядок во всем, — отчеканил Марк, — и рабыня должна знать свое место. Ведь ты же помнишь, Луций: крест или свобода. Свобода или крест.

А уж все эти ваши крещения, благодати, все эти ваши чирикания о непонятных и никому не нужных вещах... ты думаешь, для меня заметна разница между вами? И вообще, вы в своем суеверии отрицаете всех остальных богов, как бы вы ни звались между собой: иудеи, христиане... Мы, греки и римляне, сумели договориться меж собой и даже объединили пантеоны, если даже с германцами у нас есть о чем поговорить и кому вместе принести жертву. Но мы как суша — всюду разная и обильная жизнью. Рим — это материк, а все остальные — острова.

А вы, кто верит всего в одного бога, — вы как воды в море, всюду одни и те же, как вас ни называй, текущие и невнятные. Что Тирренское море, что Эгейское, что Адриатика — вода и соль, соль и вода. Ничего больше, как и вокруг этого Острова. Скучно будет нам, воинам, с вами, поклонниками Единого, — никогда не будет у вас ни одной стоящей заварухи.

Ровно через тысячу четыреста девяносто пять лет по этим водам к Острову будет плыть небольшая лодка под косым «латинским» парусом. На ее борту будут четыре очень разных человека.

Правит Хасан Родоглу в размашистых шароварах, расшитой куртке и широкой белой чалме (как быстро намокает она под дождем!). Ему помогает худой арнаут^[40] в каких-то обносках, молчаливый настолько, что сойдет за немого. Как его зовут, не знает никто — Хасан, если нужно, подает ему команды по-турецки, ограничиваясь кратким «эй» вместо имени. Да тот и без команд знает, что ему делать: когда переключать парус, когда бросать якорь, когда тянуть лодку к берегу.

Пассажиров двое. Брат Хуан Пенья (впрочем, здесь он брат Йован) в простом бенедиктинском балахоне с низко надвинутым капюшоном — и лица не разглядишь — и четками в руках. И Марко, мальчишка лет двенадцати, еще и усов нет, и голос ломаться не начал, да он его и не подает, как прилично отроку его лет. Под рваным и явно случайным плащом — добротный далматинский костюм, какие носят в этих краях.

Кто они и откуда, турок, конечно, выяснил еще на берегу, в Сан-Стефано^[41]. Он прилично говорит и по-рагузански^[42], и по-славянски. И вообще мало похож на турка, — брат Йован немало их перевидал. Еще когда был Хуаном.

Едва миновали граничный османский пост и пошли вдоль берега Рагузанской республики, Хасан достает откуда-то из-под тряпок пузатый кувшин:

— Доброе вино! Очень помогает в такую собачью погоду, как теперь.

Погода не такая уж и собачья — да, моросит дождь, но ветра нет, а ведь зимой в узких далматинских проливах может дуть так, что и безумец в море не выйдет. Похоже, просто повод себе придумал.

— Будешь, достопочтенный?

Хасан протягивает кувшин. Брат Хуан, разумеется, не будет. Слишком много печальных историй начинаются с глотка вина из незнакомого кувшина.

— Я дал обет святому Иоанну не вкушать от плода лозного, доколе не вернусь, выполнив поручение братии.

— Так уже, поди, выполнил.

— Так ведь еще не вернулся.

— И что же ты, достопочтенный, — спрашивает его Хасан, — делал в венецианских колониях на нашей Боке?^[43]

Хуан-Йован не скажет, что она пока, хвала Господу, не ваша. Спорить будут галеры и галеоны, когда придет час. Его задача — смотреть и запоминать. Прокладывать безопасный путь среди извилистых адриатических берегов промеж турецких пушек венецианским галерам и, если потребуется, галеонам его

христианнейшего величества Филиппа Второго. Белое полотнище с красным бургундским крестом^[44] всегда возвращается, и оно уже развевалось в этих краях — до сих пор одну из крепостей Сан-Стефано называют Испанской.

— Навещал братию в Каттаро^[45]. Они поддерживают наш маленький островной монастырь молитвой и добрым словом.

— И звонкой монетой, — смеется Хасан, делая большой глоток из кувшина, — но не бойся, я не граблю путников! Я раб Всевышнего.

Пусть бы он только попробовал. Брат Хуан не носит с собой алебарды или аркебузы, но кинжал в умелых руках тоже способен на многое.

— А отчего же не нашел попутного корабля прямо в Каттаро?

— Кому из тамошних мореходов интересен наш Остров? Да и в Сан-Стефано остались добрые католики, я навестил и их.

— Ну, отлично. — Еще один добрый глоток, и Хасан протягивает кувшин мальчишке. Уж ему-то куда? И парень молча мотает головой.

— А ты, парнишка, — не унимается Хасан, — тоже венецианский, из Перасто?^[46]

— Да, там рядом. Из деревни, — мальчик немногословен.

— А скажи-ка мне, аркадаш^[47], как в Перасто прошла прошлым летом фашинада^[48]? Кто бросил самый большой камень?

— Я... я не знаю, ага^[49], — робко отвечает мальчик.

— Ох-хо-хо! — хохочет Хасан, — с каких это пор жители Перасто, пусть даже его окружи, перестали обсуждать весь год, чей камень был самым большим на фашинаде? И главное, с каких пор гордые венецианцы стали звать своих османских соседей — «ага»?

Мальчик прячет лицо в ладони, делая вид, что его мутит от качки. Еще один признак выдает его с головой: перастец — и не привык к морю!

— Да что ты пристал к ребенку, — обрывает расспросы брат Йован, — он со мной. Если есть к нему вопросы — задай мне.

— Мне-то что, — отбивает Хасан грубый выпад, — венецианский гроссо^[50] есть добрый венецианский гроссо, и плывите хоть из Стамбула в Алжир. И не рассказывайте ничего.

Он показательно обиделся. Это ничего, это у них так принято — чтобы Йован был щедрее при расчете.

Хасан подходит к корме, отворачивается, приспускает шаровары и мочится в море. Что за варвар! Но... но явно не турок. В этой лодке, похоже, только угрюмый арнаут — тот, за кого себя выдает. Не потому ли, что молчит?

Хасан занимает прежнее место, делает еще один мощный глоток, кадык играет. Передает кувшин своему матросу, тот делает такой же.

— Ты хочешь спросить, почему я пью вино. Я это вижу.

— Я молчу, Хасан.

— Отчего бы и не выпить глоток в такую погоду? Здесь берега Рагузы, здесь никому нет дела. Да и дома можно. Ты читал стихи, к примеру, Руми^[51]?

— Нет, Хасан, не читал.

— Ну и я тоже. Я же не знаю по-персидски. Но он там много говорит про вино. Главное же не пьянство, главное — удовольствие от жизни во славу Аллаха. Так учат суфии. Можно и вина немного, а уж женщину, — о, мой бедный друг Йован, еще как даже можно женщину! Со свининой никакого сравнения. Ты, поди, даже не догадываешься, от чего отказался, да?

— Ты хочешь меня оскорбить, Хасан? — равнодушно спрашивает Йован.

— Нет, что ты, — усмехается тот, — я хочу тебе предложить другое. Произнеси шахаду^[52]. Это ведь так просто. У вас там какие-то длинные путанные тексты. Что там у вас? Одна сущность, три ипостаси? А природ сколько: две или одна? А может, четыре? А Дух у вас от кого исходит: от, прости мне Всевышний, Отца? Или Сына? Или обоих?

— Да ты, я смотрю, богослов. — Хуан все так же внешне спокоен.

— Учи-ился, — протягивает небрежно Хасан, — пока мозги набок не своротил. А потом все понял. Произнес шахаду. Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха. И все. И хватит. Остального мы знать не можем.

— Потурченец, — едва заметно шепчет мальчик.

— Потурченец? — Хасан его все-таки слышит, — ну, пусть так. Принял ислам, стал турком — плохо ли? Потурченец. Новое перастское слово, да? А как, скажи, твоя фамилия?

— Что? — мальчик не понимает.

— Фамилия твоя как поживает? Тата, мама?

— Что пристал к ребенку? — возмущается притворно Хуан, но и ему интересно. Мальчик не знает, что на Боке о семье говорят «фамилия». Если он скажет «обитель», значит, добрый католик с хорватского севера. А если «породица» — серб, схизматик, еретик. Но точно он не бокель^[53].

— Все здоровы, слава Богу, — мальчик спешит заткнуть рот.

— Ва-ах, — на турецкий манер протягивает Хасан, — Альхамдулилля^[54]. Принимайте ислам, будем братья. За исламом — будущее. Вы смотрите, кто были османы сто, двести лет назад?

А теперь под ними все Балканы. Кроме побережья, но и это ненадолго — Сан-Стефано, или, лучше скажу, Ай-Истифан, это ведь только начало, да?

— Это на время, — кивает Хуан, — христианских королей много, и на море они сильнее.

— Ай, надолго ли? Мы умеем учиться. Османы пришли из степей и пустынь и стали владыками мира. На море сильнее — по суше обойдут. Слышал про пост венецианский Сан-Николо, что над Джудовичами? Ну там, над самым узким местом Боки, откуда и Перасто видно, и Каттаро, и вход в Боку? Только наши галеры военные появятся — они сигнал подают, венецианцы цепь поперек залива натягивают. Ну так что? По суше, по лесу обошли — вырезали пост. И все. Потому что Всевышний за нас. Ему надоела ваша болтовня, ему нужна простая, здоровая, правильная вера. Ему нужны рабы, которые слушают Его слово и не боятся ни труда, ни войны. Им Он дарует победу по Своему желанию.

Никто уже не спорит, дальше плывут молча. На подходе к Острову унылый дождик стихает, лодка привычно заходит в бухту — Хасан давно ведет с ним свою торговлю. Немой арнаут прыгает на мостки, закрепляет канат — можно сходить на берег. Мальчишка торопится первым, но, смешно взмахнув руками, падает в воду, барахтается в ней, словно никак не может вылезти. Что за лопух!

Пара человек молча встречает их на берегу — случайные рыбаки, да местная тетушка, да еще один мальчишка со своим осликом везет куда-то нехитрый груз. А Хасан со своим арнаутом, едва выбравшись на сушу, расстилают свои коврики, обратившись на юго-восток, занимают привычную молитвенную позу и — «Аллаху акбар»! Время намаза. Молитва их недолга, проста и энергична.

Тетушка подходит поближе, дожидается конца моления и неожиданно завершает пламенной тирадой:

— Что за бесстыдник ты, Марко! Играй в свою туречину там, где тебе за это платят! К нам на Остров зачем таскаешь? Видела бы твоя мать, упокой ее Господи...

— Тетка Марица, — хохочет Хасан, — я уж не Марко. Домой-топустишь переночевать? Я, чай, по торговым делам.

— Пакости свои только чтобы не смел у меня вытворять с арапом своим!

— Хорошо, хорошо, тетенька. На дворе будем молиться. — Он все смеется. — Рыбкой-то угостишь? А я тебе знаешь какой ткани привез — из Дамаска, сказывали. Из самого Дамаска!

— Оха-альник...

Родственное свидание в разгаре. И все-таки Хасан поворачивается к Хуану и говорит на прощание, получив оговоренную плату:

— Ну, говорить много не буду, благодарствуй. Только помни. Все ваши короли, все ваши армии и армады — они не остановят нашего натиска. Мы будем приходить к вам и будем молиться на вашей земле, а вы будете слушать, и самые лучшие из вас встанут рядом с нами. Потому что ислам честнее. Честнее и проще. Нет у нас ни попов, ни монахов...

— Прощай, Хасан, — отвечает Хуан и разворачивается. Мальчик молча следует за ним.

— И ничего, никогда, никак вы с этим не сделаете! — Хасан кричит вслед, но у Хуана есть забота посерьезнее, чем спорить с магометанином. И забота эта —

мальчик.

Им бы пойти к монастырю, обсохнуть и выпить горячего вина с пряностями (а заодно и составить донесение, которое другой брат отвезет в Рагузу), но брат Хуан сворачивает к старой рыбацкой хижине — сначала надо разобраться. И отчего-то первым заговаривает мальчик.

— Отче, прости... это ведь христианская земля?

Монах поворачивается к нему лицом. Взгляд его стал стальным — не то что в лодке. Но мальчик не замечает перемены.

— Остров находится под покровительством Рагузанской республики. А место, где мы стоим, — земля нашего монастыря, а значит, она принадлежит Святейшему Отцу.

Мальчик размашисто крестится (справа налево!), падает на колени, припадает губами к его руке:

— Благодарю, отче, благослови... и молю тебя, позволь мне остаться при твоём монастыре последним послушником или батраком! Или в деревне, если в монастыре нельзя... только бы подальше от этих!

Монах все так же суров, его не разжалобишь соплями:

— Ты не с Боки. Ты иначе говоришь, чем бокели, ты не знаешь самых простых вещей, и твой жилет... да, тоже не бокельского покроя. И что самое скверное, ты не католик. Ты мне солгал.

— Прости, отче, — мальчик все еще стоит на коленях, — я боялся, что, если скажу правду, ты оставишь меня в агарянской земле, порazi их Господь! Ведь я — подданный султана... Потому я и наврал, что венецианец. Я сербин из-под Грахово, боснийского санджака^[55]. Но я никогда, ни за что не буду жить под властью агарян! Я лучше убью себя.

— Новая история. — Глаза монаха не загорелись и тенью сочувствия. Допустим, мальчик — христианин, хотя бы и сербский схизматик. Это не особенно страшно, в монастыре его сделают католиком. Но что, если он иудей или даже мусульманин? Что, если его отправили следить за самим братом Хуаном?

Есть, есть один признак, по которому сразу распознаешь мусульманина и иудея. И никак не скроешь этого от спутников в дороге, но мальчик за весь день ни разу не помочился, а ведь они с раннего утра вместе, Хуан все видел. И если это небывалая терпеливость, еще полбеды. А если он — слуга сатаны? Дьявол, как известно каждому, не мочится. Согласно некоторым надежным источникам, он, принимая телесный облик, не может обрести ни пупка, ни детородного уда, и даже в случаях с инкубами насылает на нечестивых еретичек морок, а сам не в состоянии удовлетворить их похоти. Именно так описывал это брат Леон из Отдела расследований еретической греховности^[56] — кому как не ему знать о таких вещах, с его-то опытом!

Брат Хуан трижды творит молитву на отгнание нечистых духов, осеняя себя крестным знамением. Правильным, слева направо. Мальчик благодарно и радостно

смотрит на него — он уже поднялся с колен. Что ж, Хуан никогда не считал, будто слово его молитвы движет горами. Он будет действовать напрямую.

— Аминь, — запечатывает он молитву, — а теперь я хочу посмотреть, как ты мочишься.

— Что?! — мальчик изумлен.

— Как ты мочишься. И не говори, что тебе нечем — мы вместе с раннего утра, ты все время у меня на глазах, и ты ни разу с тех пор не отлил.

— Но... я же ничего и не пил... И это, я... я в штаны напустил, дяденька... ну когда с лодки упал, все тогда еще смеялись... стыдно мне при всех, как этот потурченец... вот я и...

— Хватит! — Хуан резко обрывает наглеца. Он еще и шутить вздумал! — Предъяви свой детородный уд!

— Что, дяденька?

— Свой срамной... мужеский... короче, я должен убедиться, что ты не обрезан!

Мальчик вспыхивает и закрывает лицо руками.

— Таково мое повеление. И если ты его не исполнишь — агарянин Хасан еще на этом Острове. Вдвоем со своим арнаутом они будут рады доставить тебя сан-стефанскому кади^[57], а там пусть слуги султана сами разберутся с его подданными. А не хочешь к кади — спускай штаны. Немедля.

Теперь мальчик не может послушаться. И он не спорит. Не поднимая горящего лица, дрожащими пальчиками он развязывает — мучительно долго — и спускает штаны. И брат Хуан видит.

Это не демон и не иудей, но дьявол снова жестоко посмеялся над ним. Последний раз он видел это у кузины Кончиты, на заре юности, и много бессонных ночей провел потом в молитве, чтобы никогда не являлось ему это зрелище впредь ни во сне, ни в мечтании. Не демон и не иудей, а просто девчонка.

— Драга я... а не Марко... Драгана, дочь Милоша из Йовановичей...

— Одевайся, — говорит Хуан, отвернувшись.

— Бек один к отцу приходил свататься... А я как за агарянина пойду, — слова вырываются с плачем, она торопится рассказать все, как ни есть, наконец-то всю правду, — а они знаешь, как сватаются? Им давай завтра прямо в конак^[58]... как овцу какую... а не дашься — всей семье гибель, и все одно силой возьмет... Ну, я решилась... Даже не сказала никому, братнину одежду лучшую взяла... Там, в наших горах, тропинок хожено — никакие османы не прознают. Дяденька...

Брат Хуан больше не смотрит на нее. Но теперь он точно знает, что ему делать.

Ночь застает его в келье за составлением донесения о фортификациях Сан-Стефано и о системе сигналов. Не забывает включить и уведомление, что главный наблюдательный пост уничтожен и турки уже знают, как пробраться к нему по суше, — да будет милостив Господь к душам часовых. Мысли его убегают далеко, но это

на время — он скоро встанет на молитву, чтобы отогнать их. И много еще таких ночей ему предстоит, чтобы заслужить, вымолить, получить прощение за недолжные свои воспоминания.

Может быть, это ему за грехи предков? Его прабабка, та, что из французского Воклюза, происходила, говорят, из порченого рода — один далматинский монах приезжал в те края да не сдержал обетов. От того грехопадения и пошел прабабкин род. Может быть, провидение послало Хуана в родные края далматинского греховодника, чтобы устоять ему перед сходным искушением? И заслуга эта поможет облегчить молитвой участь дальнего предка в чистилище? И страшно даже представить, какими будут искушения потомков того потурченца...

А Хасан уже на молитве во дворе после вкусного ужина у тетки Марицы. Четыре раката^[59] — это совсем несложно, все жесты и все слова ложатся сами собой, даже когда шумно в голове от вина, да простит его Всевышний. А завтра будет новый радостный день, и новые намазы, и вкусная еда, и успешная торговля, и обратный путь, и горячая ночь с младшей женой, которую он год назад взял из Боснии.

Молится за два дома от него и Драга, а вдовая тетка Мира учит ее, горемычную, как правильно теперь ей креститься, да какие молитвы читать, да из каких цветов плести по весне венок святой Мире, а по-церковному Ирине, чтобы послала она жениха хорошего да детишек побольше, чтобы приняла под свой покров, уберегла от сглаза да порчи, зависти да худой молвы.

В церкви-то не больно ее чтут, но все девушки на Острове ей водят хороводы в четверг перед Троицыным днем, а в ночь всех святых сон просят послать про жениха. И что на исповедь надо будет сходить, великий ведь грех девице мужеские одежды носить, да и крест накладывать по-сербски, пожалуй, тоже греховно.

Адриатика вечно пахнет ветром и травами, солью и солнцем — что украсит невесту лучше ее ароматов? Ветер ли, солнце ли, ласковые ли воды смывают следы армад и империй, а море будет дарить свободу тем, кто ее ищет. Синий круг гор сбережет маленькую беглянку, и Южная Далмация станет новым ее домом — почти таким же прекрасным, как прежний, куда до последней своей ночи возвращаться ей во снах и в молитвах.

Травы. История Шуламита

А дожди все шли. То набегали, как варварское войско на римский лимес, заливали все, что только могли, но отступали под лучами солнца на следующее утро. А к вечеру наваливались снова, брали все те же рубежи, и бесполезно, казалось, сушить одежду и покрывала, вычерпывать совком воду, вообще что бы то ни было делать в этом промокшем мире. Словно бороться с недолжным цезарем ради каких-то давних иллюзий...

Пройдет всего полгода, утешал себя Марк, и мы будем изнывать от летней жары, мечтая о дожде. Колесо Фортуны, оно ведь подобно смене времен года. То мы страдаем от неизвестности и унижения, то нам кажется, что слишком много славы и почета свалилось на нас... Нет и не будет, пожалуй, золотой середины, и можно лишь положиться на волю богов — на что же еще полагаться?

Пожалуй, на железную жаровню с тлеющими углями, на верных товарищей, на чашу доброго вина. И на интересную историю — там, в низовьях Рейна, они были ценней вина и хлеба, теплого ночлега и острого меча. Душа человеческая привыкла перемалывать мир, словно мельничный жернов — зерно, и стоит лишить ее этой пищи — скучнеет, стирается, начинает грызть сама себя.

А Спутницы — той, что покоилась на руке — по-прежнему не было с ним. И ни малейшего следа, несмотря на старания Луция — уже три дня, как он рассылал гонцов из конца в конец Острова, радуясь, что снова может послужить если не Риму, то хотя бы одному из его центурионов.

Они сидели с Филологом все в той же теплой комнате, подальше от водных потоков, и обсуждали все то же: как ее найти. Толстоватый и нагловатый грек, никого не знавший на Острове, казалось, был бесполезен в поисках, но зато умел предложить свежий взгляд на происходящее. Взгляд, за который порой хотелось убить.

Вот и в этот раз.

— Будь я жрецом, Марк, я бы сказал, что твоя Спутница просто сменила облик. Ты утратил кольцо, но обрел статую в знак того, что это и есть твой новый дом. Странствия окончены.

— Так думал и я сам, — согласился Марк, — но ведь кто-то похитил кольцо!

— Возможно, — с раздумьем продолжал грек, — или оно само вознеслось на небо, чтобы навсегда остаться с тобой.

— Что за чушь ты несешь иногда, Филолог... и как будто специально, чтобы меня позлить!

— Отчего же чушь? — отозвался тот, не оспаривая, впрочем, второго предположения, — а если и чушь, то вполне приемлемую для тех, кто называет себя «христианами». Что-то подобное рассказывают они про своего прорицателя.

— Но тебе-то это зачем?

— Я собираю человеческие заблуждения, — отозвался тот, — и иногда среди них встречаются зерна истины. Довольно редко, надо признать. Но приходится, как курице, нагибаться за каждым зернышком в надежде повстречать жемчужину. И как знать, может быть, именно эти зернышки приведут меня к твоему кольцу? Ведь и ты собираешь чужие истории, не так ли? Чужие судьбы похожи на вино, их может не хватить до нового урожая.

— А греку вечно не терпится пригубить...

— Конечно, — радостно согласился тот, — и чью же историю ты хочешь послушать на этот раз, Марк? И может быть, она приблизит нас к разгадке?

— Каким образом, Филолог? Разве вор скажет правду?

— Не скажет, конечно. Но посуди сам: если это было воровство, а я по-прежнему не исключаю божественного вмешательства, нам надо нащупать причину. В твоём доме это кольцо невозможно ни использовать, ни переплавить, да и на всем Острове, пожалуй, тоже. Значит, надо искать следы, ведущие далеко. И перехватить кольцо по дороге. Эти следы найдутся в историях тех, кто рядом с тобой, ведь ты уже установил, что в дом не заходили посторонние.

Марк задумался. Даже если ничего не выйдет, попробовать стоит.

— То, что казалось нам простым способом скоротать зимние дни, становится целым расследованием. Чужие истории.

— А может быть, это божества коротают свои бессмертные дни, посылая нам приключения и забавляясь нашими рассказами о них? А мы — внутри книги, которую они пишут?

— Твое показное благочестие утомляет меня, — ответил Марк, — а небожителей, боюсь, эта вечная твоя насмешливость может и оскорбить.

— Думаю, она еще больше их забавляет. И не потребуешь ли сразу подогретого вина, — добавил грек, — и с ним, если просьба моя не будет слишком нахальной, немного оливок и козьего сыра на закуску?

— Это наименее нахальная из всех твоих просьб, грек. Эйрена, эй!

Марк хлопнул в ладони. Пожалуй, надо завести что-то вроде трубы для подачи сигнала. Когда дождь стучит по крыше и ручьями стекает во двор, голос слышен плохо.

Но девушка появилась перед ними почти сразу.

— Подогретого вина, оливок, козьего сыра. И...

— Хлеба, господин?

— И хлеба. И твою, Эйрена, историю.

— Мою, господин... что?

— Твою историю. Рассказ о жизни. Но сначала вино и закуску.

Девушка вышла в явном недоумении. След от недавней пощечины стерся с ее

щеки, но горел в памяти. Неосторожное слово — и ты будешь бита. И так теперь всегда. А тут целый рассказ...

А Филолог явно был разочарован.

— Марк, ну какая история у воробушка? Прыгала, чирикала. Поймали, посадили в клетку. Вот я тебе ее и рассказал целиком. И если ты думаешь, что кольцо увела она, то, скорее, прими версию про его восшествие на свод небесный.

— Да, воробушек вряд ли его утащил, — усмехнулся он, — как там было у Катулла?

— Про воробушка? — Филолог приосанился, насколько можно было это сделать, не вставая с ложа, и торжественно начал декламировать:

Плачь, Венера, и вы, Утехи, плачьте!
Плачьте все, кто имеет в сердце нежность!
Бедный птенчик погиб моей подружки,
Бедный птенчик, любовь моей подружки.
Милых глаз ее был он ей дороже.
Слаще меда он был и знал хозяйку...[\[60\]](#)

— Ты что, знаешь наизусть всего Катулла? — перебил его Марк.

— Не всего, конечно. Свадьбу Пелея и Фетиды я могу только пересказать. Но это же одно из самых знаменитых!

— Катулл смог превратить дохлого воробья в жемчужину своего поэтического искусства...

— Там не совсем про воробья, Марк, ты послушай дальше. — Во взгляде Филолога появилось что-то сатирическое.

Но Марк не слушал.

— А во что мы превращаем свою жизнь? И почему бы тогда этому живому воробушку не стать тоже чем-нибудь ценным?

— Только если ты возьмешь это дело в свои руки, — пробормотал несколько обиженный Филолог. Ему так и не дали насладиться намеком на «то туда, то сюда»... Впрочем, Марк был воином и привык называть такие вещи более простыми именами. Нет, с ним это было все одно бесполезно.

Вошла Эйрена. На простом глиняном блюде распластались ломти белого сыра вперемешку с черными кружочками маслин, политые зеленоватым оливковым маслом.

— А травы? — спросил Марк.

Девушка вжала голову в плечи: про травы разговора не было. Еще одна пощечина? Но тогда она не удержит блюда, и ее будут бить еще и еще...

— В следующий раз, — мягко сказал Марк, — возьми немного сушеных трав и

щепотку морской соли. Растолки в ступке и посыпь сыр прежде, чем поливать его маслом. Молодой сыр раскрывает свой вкус только вместе с травами.

— Прости, господин... — прошептала она, не смея ни отступить, ни поднять глаз. Но пощечины не было.

— Ты не знала, — удовлетворенно кивнул Марк, — теперь знаешь. Растолки травы и посыпь ими сыр сверху. А еще лучше сделай в следующий раз так: растолченные травы залей маслом заранее и оставь, чтобы они отдали свой аромат. Не знаю, понимает ли в этом толк здешняя повариха. Среди приправ обязательно должны быть базилик, мята и шалфей, а что еще найдется в этих горах, не знаю. Или у вас не знают базилика? Эту траву с царским именем привезли из Индии воины великого Александра...

Зардевшаяся девушка вышла, а Филолог противно захихикал:

— Марк, ну и изысканные же кушанья подавали у вас там, на нижнем Рейне...

— Я не всю жизнь был воином, — отозвался тот, — и если ты думаешь, что, живя в этой глуши, я откажусь от простых удовольствий вроде правильно поданного сыра, ты ничего не понимаешь в этой жизни. А соловьиные язычки с подливой из розовых лепестков пусть кушает... ну, ты понял.

— А ты пробовал?

— Сыр вкуснее, — уклончиво отозвался Марк.

Эйрена вернулась быстро, намного быстрее, чем можно было ожидать, аккуратно рассыпая приправу прямо из каменной ступки — она очень-очень старалась во всем угодить хозяину, и было неясно, вчерашняя ли пощечина тому причиной, или просто ей важно стать для него хорошей рабыней.

— Что ж, так лучше, — словно бы похвалил ее Марк. Хозяин не извиняется перед рабами за былой гнев, это часть его прав — быть непредсказуемо жестоким. Но он может оказаться в следующий раз снисходительней, чем ожидают рабы, и это тоже его право.

— А что насчет истории?

— Господин?

— Я хочу, чтобы ты рассказала мне о своей жизни. Я хочу знать, как ты жила раньше, до рабства. Еще мне... точнее, нам с другом любопытно услышать, как ты поддалась этому суеверию и действительно ли ты, как и Луций Габиний, поклоняешься какому-то новому божеству.

И, чуть промолчав, добавил:

— Говори свободно. Не бойся.

— Я не боюсь, — девушка мотнула головой, — не боюсь, господин. Я просто еще не привыкла... ну вообще, не привыкла к рабству. Но я постараюсь делать все так, как ты скажешь мне. И тебе не придется меня больше бить. Потерпи, прошу тебя, если я чего-то еще не умею.

Марк задавил улыбку. Она все равно говорит с ним как с равным. Ее можно сломать, ее можно продать, но можно ли ее приручить? Можно ли сделать так, чтобы она ела с его руки? Или это как с той батавкой? Только та не была готова принять внешнее рабство, а эта — внутренне с ним согласиться. Но не этим ли она ему и любопытна?

— Итак, где ты жила? Где так хорошо научилась говорить по-гречески?

Двое мужчин возлежали за простой деревенской трапезой: оливки, сыр, вино, — а она стояла перед ними словно без принуждения. Словно не тяготило ее нынешнее положение и воспоминания о доме были светлы и беспечальны. Словно в дом можно было вернуться...

— Я выросла в Кесарии Приморской, что в Палестине, — ответила девушка, и было видно, как приятна ей похвала, — там все говорят по-гречески. Отец мой был греком с севера, отсюда... отсюда цвет моих волос. А по матери я — дочь Авраама, Исаака и Иакова. Или дочь Сары и Рахили, если вспоминать женщин.

— Проще говоря, из иудеев, — подсказывает Филолог, — а то слишком уж цветистое наименование. Мы, боюсь, можем что-то напутать в твоём родословии. Но я не знал, что иудеи сходятся с греками, как твои родители. Разве для них это не осквернение?

— Нет, — ответила девушка, — ведь они оба были христиане.

— Твоя мать иудейка родом? — уточнил Марк. — Неужели ты ради этого суеверия отказалась и от имени своего народа?

— От имени Израиля не откажусь ни за что, — отвечала она, — но родители мои прибегли под защиту Христа, а первым в нашей семье поверил мой дед с материнской стороны. Он слышал проповедь апостола Петра в Иерусалиме о том, как распяли Учителя и как воскресил Его Бог.

— И что же, — спросил Марк, — твой дед видел это своими глазами?

— Увы, нет — ответила она, — честь стать одним из апостолов ему не досталась. Но он ещё юношей принял крещение от самого Симона Петра и...

— Не о том ли Симоне рассказывал мне Луций?

— Нет, конечно же. Это имя часто встречается в моём народе. Тот Симон, великий апостол Петр, оставил земной мир. Как, увы, и мой дед и мой отец... Но, кажется, я знаю, какого Симона упоминал тот... десятник. — Слово «брат» едва снова не слетело с ее уст. — Но ты спрашивал не о том.

У меня были самые лучшие на свете родители. Что они встретились — это уже было чудо. Дети разных народов, они полюбили друг друга. И сказали: Христос сделал из двоих одно, создал Свой народ из эллинов и иудеев. А мы создадим семью.

И когда я родилась, папа сказал: нашу дочь будут звать Эйреной. Это слово означает по-гречески «мир», и она будет плодом мира. И мир будет расти вместе с нашей дочуркой. А мама ответила: на нашем языке «мир» звучит как «шалом», и я

буду звать нашу доченьку Шуламит — так звали возлюбленную Соломона, нашего древнего царя.

— Я слышал, у него было много жен, очень много, — вставил Филолог.

— Да, но только одну он воспел в своей великой книге. Ты не читал ее?

— Нет, — с сожалением, притворным ли, искренним ли, ответил тот.

Девушка как будто попыталась улыбнуться, но губы остались неподвижными. И даже неясно было — нерожденная ли это улыбка, или замерший на устах вопрос. И она продолжила рассказ:

— У меня было очень счастливое детство, и это, наверное, помогло мне... теперь. Меня бесконечно любили. Отец, правда, умер, когда мне было двенадцать. Но теперь, — она словно спохватилась, чтобы назвать это правильно — теперь он с Богом.

— С каким именно? — уточнил Филолог.

— А Он есть только Один.

— Разве? — усмехнулся тот, — я слышал, у вас их по меньшей мере двое: Отец и Сын.

— Я не очень хорошо разбираюсь в таких сложных вещах, — девушка не смутилась нисколько, — я только знаю, что мы почитаем Единого Бога Отца и Единого Господа Иисуса. И они двое — одно, и с ними Святой Дух.

— И при этом ты отказываешься почитать всех прочих богов, гениев, демонов, не говоря уж о нимфах и прочих, — задумчиво отметил Марк, — губительное, высокомерное, безбожное суеверие.

— И арифметика явно не твоя сильная сторона, — грек лишь усмехнулся.

— Да, я не слишком-то умею считать, — девушка как будто не заметила упрека своего господина, — но мне зачем? Считал хорошо мой отец. Он торговал разными вещами, у него была лавка в Кесарии. А потом... мы с мамой переехали в Сепфорис^[61] — там у мамы была родня, дядя Иаков.

А память уже подсказывала Эйрене другое. Широкая главная улица Кесарии — колоннада, лавки, торговцы, мальчишки и шум, бесконечный шум вокруг. В этом шуме легко спрятать и смущение, и оскорбление, и боль. Легко кинуть камнем в спину и спрятаться в толпе, чтобы никогда ты не узнала — кто и почему это сделал. И можно даже ночью подбросить к порогу лавки отрезанную песью голову — то ли иудеи мстят нечестивому греку, который увел «нашу еврейскую девочку», то ли язычники хотят выгнать из своих рядов еврейское отродье.

Она так тогда плакала над бедным песиком, ей было всего десять, и неловко было признаться себе самой, что этот плач — не о мертвой собаке, но о ее семье, живой и настоящей. О будущем, которое не обещало быть мирным. За что, за что их так ненавидят, они же никому не причиняют вреда? А папа утешал и говорил, что мир не приходит сам, что его должны приносить в этот город именно они и что настанут времена, когда обижать человека другой веры или другого народа будет так

же неприлично, как ходить по улицам без одежды.

И папа старался дружить со всеми и всем помогать. Только он худел, бледнел, все чаще присаживался отдохнуть и уже не мог скрывать боли, которая грызла его изнутри. Община молилась за него, только... видно, воля Божья была в другом. Папу хоронили за городом, в углу старого кладбища, где уже было несколько христианских могил, на вид неотличимых от обычных. И говорили на похоронах о рае, в котором он теперь с Иисусом, а Эйрене было невыносимо больно от того, что папы нет с ними, и еще от того, что надо бы радоваться о его исходе, а у нее остались только слезы.

Лавка к тому моменту уже была продана, папа заранее позаботился обо всем, чтобы избавить свою семью от торговых хлопот. Договорились с ним заранее и об этом переезде в Сепфорис — там жил дядя Иаков, добрый и честный человек. Он не отрекся от родства с мамой, как большинство кесарийских родственников, хотя сам и не принял новой веры. Его дом был куда ниже и теснее кесарийского, но не вдове с сиротой подбирать себе дворцы по вкусу.

А потом ушел и дядя. Нет, он был здоров — просто однажды он сел на грубый табурет, подпер голову рукой и сказал, что хочет быть со своим народом. А его народ поднял восстание против Рима, и раз этот новоявленный Иисус не спешит подать с небес избавление своему народу, придется все снова делать самим. Пора перековывать садовые ножи на копья, — так он сказал, — и лемехи на мечи. Смешной человек, подумала тогда Эйрена, как собирается он перековать свое мирное сердце земледельца?

Сепфорис пропустил через себя римских солдат, как пропускает дырявая крыша осенний дождь — да, неудобно, приходится вытирать лужи. Но выглянет солнышко, и все будет прекрасно, и даже, может быть, прореху забудут заделать, радуясь погожим денькам. Но был неподалеку еще один городок, Иотапата — и он встал на пути легионов, как плотина на пути бурного потока. И римляне стояли под Иотапатой осадой, они не могли двинуться к Иерусалиму, оставив в боку такую занозу. Зато у них было сколько угодно времени и сил для осады. И дядя Иаков был там, внутри смертельного кольца. И не было никому туда дороги.

Соседи приносили иногда им с мамой еду и что-то из одежды, все же это была семья борца за свободу, воина Израиля — но все реже, по мере того, как таяли силы у осажденных и рос осадной вал у римлян. А потом все было кончено. И девочка с мамой отправились узнать о судьбе дяди Иакова.

Первое, что они увидели, были кресты. Кресты, кресты и кресты, на многих еще шевелились голые люди, и кто-то просил пить, кто-то молился, кто-то проклинал Рим. Это были пленники из Иотапаты, и мама мучительно вглядывалась в изможденные лица, надеясь не узнать ни в одном из них своего брата. И не узнавала — но не потому ли, что на каждом читалось родство лишь с болью и смертью и не было в них больше сходства с родным и живым?

А Эйрена видела такое впервые. Она знала о кресте, но прежде это были всего лишь слова. А теперь — удушающий запах крови и пота, гноя и страха, жужжание мух, насмешки проходивших мимо легионеров, и ужас, ужас без конца и края. Вот

через что прошел Иисус, чтобы спасти ее родителей, и ее саму, и каждого человека...

Той ночью она почти не спала, а когда забылась под утро, на шерстяной подстилке у погасшего костра, к ней пришел папа. Он гладил ее по голове, он был весел, как в прежние дни, еще до собственной боли и смерти, и говорил, говорил — она не запомнила и половины. Он сказал, что ждет их с мамой и все уже для них приготовил — но у каждой из них свой собственный путь, и некуда торопиться. Есть еще чему поучиться на земле, и когда она спросила чему, он ответил серьезно и строго: «Вере, надежде и любви. Трое их, сестер, и старшая из них — любовь. Как у нас дома». И она проснулась с ощущением запредельного счастья — там, на краю вражеского лагеря, среди умиравших людей, в разоренной и завоеванной стране. Свет был внутри.

Дядя Иаков нашелся на третий день. Он оказался в плену, и это была лучшая из возможных вестей. Его заставили работать на разборе осадных конструкций, и было понятно, что теперь он раб, но он — жив, они все — на своей земле и рядом друг с другом.

И жизнь снова обрела русло: нужно было выживать в Сеп-форисе самим, а еще заботиться о дяде, который все работал и работал на римское войско, потому что война никак не кончалась, а значит, надо строить и ломать, ломать и строить. Римляне скудно кормили своих пленников, и трудно было бы ему выжить без помощи семьи. И они старались: ткали и пряли, а порой просили о помощи дальних родственников побогаче, а те привычно отводили глаза.

А однажды в их дом заглянул удивительный человек по имени Симон — возможно, тот самый, о котором говорил Луций. Это было как сон о папе, но это было наяву. Он обходил города Галилеи, он наставлял и утешал, и не было в его словах ничего, кроме спокойной и ровной надежды. О, если бы она могла пересказать теперь его слова своему господину, он наверняка принял бы их веру!

Так жили они года два, пока их с мамой не схватили на дороге, когда они, навестив дядю, возвращались в Сепфорис. Кому нужны вдова и сирота, когда кругом война и рыщут работоторговцы? Лица были знакомые, эти люди если и не жили в Сепфорисе, то часто бывали там. Может быть, им приглянулся дядин надел и его домик, а мысль продать обитателей в рабство пришла уже потом. А может, поняли, что никто не защитит и не выкупит их. И торговались отчаянно, даром что во время войны рабы дешевеют. ..

— Нас с мамой схватили, — просто сказала Эйрена, — когда папа умер, когда давно уже шла война, когда наш дядя Иаков попал в плен и некому было за нас заступиться. И больше я маму не видела. Только вот бусы... Она дала их мне на прощание. Это ее бусы — память о нашем доме и нашем счастье.

— У тебя был возлюбленный? — спросил Марк.

— И есть, — девушка опустила глаза, — мой жених — Христос. А теперь, когда такой возраст, что могут посвататься... ну я даже не знаю... ну вот видишь, господин, теперь я у тебя. Теперь это ты решаешь. Мне хорошо.

— Твой шрам оттуда — с войны? — спросил Марк.

— Да... — девушка опустила глаза, — мне трудно об этом вспоминать. Они хотели... они уже собирались... я взяла тогда нож, там был нож. Но я бы не смогла убить. Просто не умею, и потом... И тогда я провела по лицу, вот так... — Она показала это быстрым и резким жестом.

— И не было страшно?

— Очень страшно! Но... я попросила Иисуса. Я сказала: Ты пострадал за нас, дай мне разделить Твои страдания, чтобы остаться чистой, остаться Твоей. Потекла сразу кровь, много крови — а они сразу отстали. Даже бусы мои не тронули, голубые мои бусы, мамины. А так бы... я не знаю, как смогла бы я после такого жить.

— И твой бог не заступился за тебя? — спросил Филолог.

— Очень даже заступился! — с горячностью отозвалась девушка, — вот в какой хороший дом я попала. С тех пор как я рабыня, все люди, ну почти все ко мне добры. Мне только очень жаль, что я ничего не знаю про маму. Нас продали раздельно на рынке в Кесарии... в той самой Кесарии, и представляешь, приходили даже наши христиане. Те, кто помнил нас в этом городе. Они утешали и ободряли нас.

— Но не выкупили, — равнодушно заметил Марк.

— Нет, у них не так много денег. А рабы стоят дорого...

Марк хмыкнул в ответ:

— И все же Иисус никак не помог тебе освободиться.

Эйрена продолжала:

— Вот и мамины родственники ей говорили: ты видишь, ваш Иисус ничего не сделал для Израиля, римляне рвут нас на части, это за то, что мы отступили от веры отцов. Оставь суеверия грекам, вернись, мы примем тебя в синагоге. Мама улыбалась и благодарила за заботу. Она не спорила с ними, у нее на руках была я. Принимала их помощь, когда ее предлагали, и не спорила, никогда не возражала. И молилась потом.

Она чуть помолчала и добавила:

— А главное, Он обещал, что я тут ненадолго. Нет-нет-нет, господин, ты не думай, я не попытаюсь бежать. Я буду покорна тебе, ведь и Господь заповедал — так наставлял нас учитель Симон, — чтобы рабы были покорны земным господам. Мы в Господе все свободны и все перед ним рабы, понимаешь? А точнее, вольноотпущенники — это Иисус выкупил нас Своей кровью. И мы будем с Ним на небесах — мой папа... мой отец уже там.

— И конечно же, — саркастически заметил Марк, — стоит тебе пролить каплю вина перед ларами Аквилиев или бросить щепоть благовоний на алтарь гения императора, как тебя немедля лишат уготованного небесного апофеоза. До чего же скареден и ревнив этот ваш Иисус!

— Нет, мой господин, — спокойно отвечала Эйрена, — просто Он мне жених... А какая же невеста будет раздавать поцелуи посторонним?

— Совсем ты запуталась, — покачал головой Филолог, — и сватовства ждешь, и верность хранишь покойнику. А вдобавок: и рабы мы все, и свободные... и вольноотпущенники, сверх того... Фортуна, фатум, судьба, рок — вот кто вознес тебя и низверг. Как бабочку, прилипшую в колесу водяной мельницы: вот ты на солнышке — а вот тебя макнуло в самую стремнину. Но, подожди, может, снова повернется колесо? Тогда и обсохнешь? Например, если поможешь господину вернуть его кольцо...

— Я бы сразу вернула, если бы знала, где оно... И я же говорю, господин, что не умею объяснить все правильно. Ты знаешь. .. здесь, на материке, есть наши. Там есть один пресвитер, он может сказать лучше меня. Его зовут Алексаменом. Ты... если ты хочешь узнать про нашу веру, ты позови его, он наверняка придет. И ты услышишь все, как оно есть, а то я вечно путаюсь в деталях.

— Бедная девочка всерьез хочет обратить нас в свою веру, — подвел итог Филолог, — что скажешь, Марк?

— Что ж, — отозвался тот, — зима впереди длинная. Новый человек — новая история. А пока... Мы, кажется, доели сыр. Можешь убрать это блюдо. И принеси нам чашу для омовения рук с полотенцем.

Да, если Спутницу похитила она — несомненно, этот жрец Алексамен был сообщником. Хотя... что брать с этой девчонки? Щуплый воробушек щебечет восторженный бред — ну и пусть себе прыгает, пусть чирикает. Она даже никогда не жила в богатом доме и не знает, как принято в нем прислуживать. Да, всему придется учить... Зато она покорна и мила. И может быть, когда-нибудь сгодится для постели, думал Марк. Для мимолетного утоления страсти, о котором забываешь на следующее утро... Нет, конечно, никто никогда не будет помнить эту глупую девчонку с уродливым шрамом и нелепыми голубыми бусами.

Почитатели

Эти голубые бусы ровно через двести шестьдесят три года будут лежать на каменном престоле только что построенной небольшой базилики. В церкви служат епископ и трое пресвитеров, больше и не поместится вокруг престола, а двери растворены — на дворе больше молящихся, чем внутри. Кто же из верных не придет на освящение храма? Первого на Острове храма. Прямо в дверях стоит пожилой диакон — он читает свои молитвы, обводя собравшихся десницей, собирая их воедино. Всех не вместят стены, но вместят Божьи длани.

Литургия течет радостно и легко. Епископ и пресвитеры поочередно подают возгласы, отвечает весь народ — может быть, не очень стройно, но громогласно. И даже осеннее небо дарит им солнце после вчерашних проливных дождей — от промокшей земли идет пар, и расщебетался где-то неподалеку запоздалый дрозд. Хвалит Господа, словно весна на дворе — да и не весна ли настала для всей церкви?

Евангелие читает пресвитер Марк, младший из всех, стоя прямо в раскрытых дверях, чтобы слышали все. Это ему теперь служить в базилике, остальные — желанные гости на его торжестве. И главный, конечно, епископ Адриан с материка. Ему и произносить наставительное слово для верных.

Он седовлас, лицо рассекает страшный шрам, левого глаза нет. Но вид его не страшен — он величав. Шрамы только украшают воина. Он выходит на порог, в руке его — те самые голубые бусы. Все глаза обращены на него.

— Рад приветствовать вас, островитяне! — голос у Адриана громкий и юный, и взгляд такой же, — и безмерно рад совершать евхаристию вместе с пресвитером вашим Марком, диаконом Юстом, вместе с каждым из вас, вместе с верными посланцами материковых церквей, пресвитерами Марином и Альбом. В первый раз мы будем служить с вами в Божьем и вашем храме. Не в чьем-то доме, не в укрытии на дальнем холме, не в крипте, вырытой в лесу. Есть теперь на Острове храм Божий — но Церковь Божия, невеста Христова, была, знаю, и раньше.

Мы будем сейчас совершать благодарение Богу за каждый наш вздох, за вечность, которую Он нам обещал, и за храм как залог Его благодати. Сам по себе каждый из нас — грешник, и ждала бы нас верная погибель, если бы Он не призвал нас к Себе, не омыл нас кровью Возлюбленного Сына от наших грехов, не даровал благодать Святого Духа, не собрал, как пшеницу в житницу Свою. Благодарим Его за это!

— Благодарим! Аминь! — шелестит народ, не отрывая глаз от епископа.

— Но возблагодарим и тех людей, без кого не собрались бы мы здесь сегодня. И первым назову благочестивейшего и боголюбнейшего кесаря Константина — по его воле наслаждается Церковь вот уже который год миром и покоем, он оградил нас от хищных волков, чьи зубы, как вы знаете, терзали и мое тело. Но благодарю Господа моего, что удостоился носить на теле знаки милости Его и что, исторгнув мой глаз, не могли волки исторгнуть образ Господень из сердца.

— Святой! — кричит в толпе чей-то восторженный голос.

— Свят Господь. И святы верные Ему как народ Его. Возблагодарим и ктитора храма сего, благоверного проконсула нашей провинции, и всех, кто потрудился над его строительством и украшением.

Но более всех возблагодарим и прославим тех, кто отдал свою земную жизнь ради жизни вечной, от кого приняли мы нашу веру, кто претерпел все до конца и потому может помочь своим небесным заступничеством и нам, кто еще не прибыл к тихой и беспечальной гавани.

— Святая Суламифь! — кричат в народе.

— И среди первых помянем святую Суламифь, а по-гречески Ирину, принесшую огонь веры на этот Остров. — Епископ воздевает бусы над головами людей. — Вы и сами знаете историю ее жизни. Не удостоились мы пока обрести ее тело, чтобы почтить его и совершать над ним евхаристию, ибо кровь мучеников есть семя Церкви. Но остались бусы, хранящие тепло ее пальцев — их перебирала она, читая молитвы. И пусть свои святыни и мощи хранятся в Риме и Александрии, в Антиохии или в том новом городе, который строит на берегах Босфора благочестивый Константин, — есть своя святыня и у вашего Острова. Есть у него своя небесная покровительница, совершившая апостольский труд и принявшая из рук Отца, я уверен, венец, равный апостольскому.

Родилась она в Святой Земле и неустанно подвизалась в благочестии и любви к ближнему. В Нероново гонение она была сослана на этот Остров, но и это содействовало Церкви ко благу: она несла Слово Божье жителям этой земли. Нечестивый центурион, стоявший здесь со своим войском, принуждал ее отречься от веры. Он действовал и лаской, и уговорами, обещая, что освободит ее и осыплет милостями, если она принесет жертвы языческим богам, а когда увидел, что она непреклонна, повелел ее бичевать. Много было нанесено ей ударов, но блаженная лишь благодарила Бога, а раны ее немедленно затягивались. И так она обратила к Богу сердца многих островитян.

Наконец, подвергнув ее самым страшным пыткам, о которых не подобает и говорить, мучитель низверг ее связанной в море. Он думал остановить тем самым распространение нашей веры — но лишь содействовал ей. Так на Острове возникла община христиан, так на небе появилась у нее заступница и молитвенница. Ваши деды, ваши отцы собирались тайком, а многие были преследуемы за свою веру и даже убиваемы, как и святая Суламифь. Все мы вынесли, все претерпели, и сегодня перед нами открыт широкий путь. Христианство более не гонимо.

Будем же помнить об этом подвиге. Будем неустанно благодарить Бога, Его святых и земные власти за мир и покой, которым мы наслаждаемся. И будем, дорогие братья и сестры, помнить, что гонения могут по грехам нашим и вернуться.

— Не дай Боже! — крикнули в толпе.

— Могут, братья. Будем мужественны и боголюбивы, как эта святая, чье имя означает «мир». Будем терпеливы в скорбях и милосердны ко врагам, какой была и она. Будем едины и верны в любви Бога Отца, в жертвенной крови Сына и в благодати Святого Духа! И да пребудут с нами молитвы святой Суламифи.

— Аминь!

Горы, кажется, дрогнут от этого могучего выдоха сотни голосов. А епископ разворачивается и заходит внутрь храма, совершать таинство.

— Отче! — кричит женщина из толпы, — дай к ним прикоснуться! Я три году молю святую, да пошлет мне чадо!

Епископ не слышит или делает вид. Он священнодействует. А той женщине объясняют подруги: сейчас не время. Она согласна подождать, после трех-то лет. Теперь Суламифь обязательно исполнит ее просьбу — сам епископ с материка держал ее бусы!

Пресвитер Марк жадно глядит на уверенные руки Адриана (три пальца на левой руке искривлены — это память о том же, о чем и шрам на лице). Марку редко доводилось бывать в базиликах, да и то самых маленьких, он совершал евхаристию в собственном доме или в других домах. А когда народу становилось много (и ведь число верных росло год от года!) — под открытым небом, на том самом холме, где, по преданиям, претерпевала мучения святая Суламифь. И вот теперь у них есть базилика — царский дворец для Христа, и ничего, что совсем небольшой.

Но как правильно совершать служение во дворце, он не знает. Надо все запомнить: как епископ возносит чашу, как преломляет хлеб. Чаша велика, и хлеба много — ведь и народ собрался со всех концов Острова. Но перед тем, как начать причащение верных, епископ тихо говорит ему:

— Марк, встань в дверях и следи, чтобы никто не унес Тела Христова с собой.

— Зачем? — удивляется тот, — неужели кто-то не станет его есть?

— Я такое видел, — отвечает епископ, — среди них много вчерашних язычников. Они могут взять святыню для своих родных, а я даже слышал, как Тело давали больной корове. Встань там вместе с моим диаконом. Следите, чтобы все съедали все прямо здесь, ни крошки вне храма.

Марк ошарашенно кивает головой. Неужели такое может быть? Святыню — корове?! Но, значит, бывает...

Он и гонений не застал, не то что епископ. Только отец ему рассказывал, как уводили деда, еще при Диоклетиане. Деда и еще троих островитян. Тогда всем велели приносить жертвы перед статуей императора. Деду предлагали исполнить пустой обряд, отречься не требовали. Потом предложили даже не возливать вина, а просто прикоснуться к чаше, из которой потом кто-то другой прольет пьяную влагу в честь гения императора. Но тот отказался — как трогать бесовскую чашу тому, кто пьет из Христовой?

Их увели, двое потом вернулись. В том числе дед. И он никогда не рассказывал, что делали с ним на берегу, отрекся ли он. Но к Христовой чаше три года потом не подходил, часто молился в уединении. Видимо, все же отрекся — а может быть, просто промолчал в ответ на прямой вопрос. Тем, кто его уводил, тоже было не интересно мучать простых земледельцев, были дела поинтереснее. Они не слишком старались.

А теперь все закончилось. Свобода и мир.

И не зря Адриана называют Максимом — величайшим. Он всегда оставался самим собой, все претерпел, всех обедил — и прежде всего свою собственную слабость. Нет по всей Южной Далмации никого величавей — ему и быть епископом.

Островитяне подходят по одному, принимают из рук епископа частицу хлеба, таинственно ставшего Телом, затем берут в руки чашу с Кровью-вином и делают по небольшому глотку. Лица светлы и спокойны.

— Понемногу отпивайте, — беспокоится один только Марк, — а то тем, кто сзади, не хватит.

И вдруг на самом пороге он хватается за руку немолодую женщину с опущенной головой:

— Кто ты? Почему я тебя не знаю?

— Эвника, дочь Ксанфа...

— Ты крещена ли?

— Что?

— Крещена ли ты? Я не видел тебя прежде в нашем собрании.

— Я... с другого конца Острова...

— Так ты не крещена?!

— Прости, господин...

— Эвника! — медь звенит в его голосе. — Разве ты не слышала? Некрещенные должны оставить наше собрание сразу после проповеди! Здесь только верные! Приходи ко мне завтра — я преподам тебе основы веры. Начнешь учиться. И к Пасхе, Богу содействующу, ты примешь святое крещение. До тех пор ты не должна даже видеть евхаристии...

Эвника недовольно отходит в сторону. Развели тут, понимаешь... Вон хромая Сильвестра приняла этот их волшебный хлебец — а ей не достанется, что ли? Великие боги! Сильвестра чем ее лучше? Уж и посмотреть, говорят, нельзя... Ох, не к добру приехал этот их жрец одноглазый. Теперь мальчишка Марк совсем зазнается. Ну и что, что за них теперь кесарь, вот подождем, будет ли следующий им помогать, а нынешний-то больно уж стар, да и далеко он...

Она не замечает, что ворчит вслух. Но служба уже закончена, епископ благословляет народ.

— Христиане! — визгливый голос вырывается из толпы, — христиане, все на мыс!

— Какой мыс? — епископ недоуменно спрашивает Марка.

— Да уж не тот ли... — в замешательстве отвечает он.

— Все на мыс! Нептуна на слом! Нептуна на слом! — снова вопит тот самый,

кто кричал епископу «святой». И все становится понятным.

На ближнем мысу стоит небольшой жертвенник Нептуну, он же Посейдон, а иллирийское его имя все давно забыли. Сейчас он уже почти заброшен, но Марк помнит, как в его детстве мало кто из рыбаков и мореходов не приходил к нему хоть раз в месяц попросить удачи в ловле, попутного ветра и доброй погоды.

— Нептуна на слом! Разрушим капище!

— Стойте! — грозный голос епископа Адриана Величайшего перекрывает зарождающийся рев толпы, — христиане, не смейте насильничать!

Толпа ахает.

— Так Нептун же бес? — спрашивает кто-то из толпы.

— Боги язычников суть бесы, — соглашается епископ, — и потому язычники творят насилие и ненавидят нас. Мы можем ответить только любовью.

— Долой жрецов! — кричит в толпе уже другой голос, — выгнать их с Острова! Кто не чтит святую Ирину, тому здесь не место!

— Христиане! — епископ гремит, — бич палача-язычника вырвал мне глаз — вырвите теперь вы другой прежде, чем будете гнать и преследовать неверных! Да не увижу я до конца моих дней, как верные, вкусив Плоти Христовой, рвут чужую плоть! Как причастившиеся святыне прибегают к насилию! Как овцы стада Христова отращивают волчьи зубы! Да не будет! Кто пойдет громить языческий алтарь — убей сначала меня.

— Ну уж, — охают в толпе.

— Владыка, прости! — не унимается тот, крикливый, — прости и благослови! Отпусти мне мой грех!

Епископ широким, размашистым жестом благословляет толпу:

— На мир и любовь благословляю вас. Мир — это имя святой покровительницы вашей, и Божья любовь всегда с нами. Мир и любовь суть ваше оружие, а вера — доспех. Сими воительствуйте.

И, повернувшись к Марку, говорит тихонько:

— Тяжело тебе будет с ними.

— Я уж понял, — соглашается тот, — а теперь, господин мой Адриан, и вы, собратья, разделите нашу скромную трапезу. Может быть, немного козьего сыра с приправами и немного подогретого вина и покажутся вам скромными, как трапеза самой Суламифи. Но мы со всем радушием угостим вас.

— Ну уж, ну уж, — смеется епископ, — небось, и козленка закололи? Да, поди, не одного? С вечера по всей деревне пахнет готовкой.

— Ия, — добавляет Марк, — только теперь по-настоящему понял, почему тебя называют Величайшим. Только теперь. После Нептуна.

Народ слышит, он доволен. Праздничный обед — это намного лучше, чем

разгром чужого жертвенника. Да и неизвестно ведь, как оно еще потом обернется, не накажут ли...

И даже тот, самый нетерпеливый, не спорит. Не велено трогать Нептуна — он не будет. Пока не будет. Но можно, к примеру, подпустить петуха в дом соседа-язычника, у него до сих пор почитают и ларов, и даже верховным богам приносят жертвы. Только осторожно надо, чтобы вся деревня не сгорела. А придут на Остров люди кесаря — ведь придут они рано или поздно! — рассказать им про жертвенник. И про рощу священную, и про хороводы, какие девушки водят по весне, просят у озерных нимф парней не портить и мужской силы у них не красть, да забавляют лесных старушек, чтобы те соткали им девичье счастье. Хороши, по правде сказать, те хороводы, хоть и игрища суть бесовские. И про многое другое...

А епископа слушать положено, да. Не велел он жертвенник трогать — мы и не будем.

Адриатика вечно пахнет ветром и травами, солью и солнцем. Плодовитая осень сменяется дождливой зимой, а потом придут соловьиные трели весны, и кажется, что ничего нового не бывает под солнцем. Но рассеивается над Адриатикой языческая тьма, восходит над ней Солнце Правды, и море возвращает своих мертвецов прославленными святыми. Своему Творцу приносит Адриатика спелые плоды, собирает Он урожай на ее нивах, и сок ее гроздьев становится Кровью Христовой. И Южная Далмация, прекрасная, как невеста, встречает вечного своего Жениха.

Песнь. История Алексомена

Марк проснулся в то утро до рассвета. Можно было, наконец, отоспаться за долгие годы походов и сражений, но спать совсем не хотелось. Это была не свобода — ненужность. Его просто никто не ждал ни на этом Острове, ни в целом мире. А те единственные люди, для которых его присутствие что-то меняло в жизни, — Юст, Филолог, рабы и арендаторы, — пожалуй, не стали бы горевать, исчезни он этим прекрасным утром из их жизни.

Впрочем, нет. Филолога в конце-то концов кто-то должен кормить. Он бы горевал, да.

Марк поднялся с бесполезной постели, приветствовал ларов кратким возлиянием (для того рядом с ларарием всегда стоял небольшой сосуд с вином) и вышел наружу. В это утро борей, северный ветер, ненадолго отступил, решив напомнить островитянам о возможности лета, солнца и счастья. Мир, еще погруженный в дремоту, выплывал из ночной синевы, обретал очертания и краски. Где-то там, за горами, уже должен был подниматься блистательный Гелиос, но отсюда его еще не было видно. Зато лениво покрикивали в ближней деревне петухи, где-то вдаль проревел осел, но родился из утренней свежести и совсем другой звук.

— Симени кахотам аль-либбеа, кахотам аль-зроэха...^[62] — в этой предутренней дымке звенел и переливался голос, глубокий и легкий одновременно. Марк не знал таких голосов в своем поместье. Должно быть, это пела островная нимфа на своем, никому не ведомом языке или сама Эос омочила юные стопы островной росой и породила это пение.

Марк затаил дыхание. Там, поодаль, на невысоком холме, стояла девушка, воздевая руки к небу, ее волосы казались золотыми, а голос... он прежде не знал, что бывают такие голоса. И что один из них принадлежит его законной собственности — а значит, ему самому.

— Ки аzza каммавет а-ахава-аа... — Этот голос плыл, и как будто дрожал в плотном утреннем тумане — но нет, не дрожал, он заполнял собой окрестное пространство, наполняя его смыслом, как солнечный свет — цветом. И тут же набегал густой морской волной, рушился повторами чужих согласных, влек за собой:

— Маййим раббим... — но тут снова возвращалось это легкое, как девичье дыхание, слово «ахава», и она пропевала его мучительно долго, словно было ей тяжело его начать и еще тяжелее — с ним расстаться. И Марк понял, что означает это слово.

Но песня закончилась слишком быстро. Девушка опустила руки, склонила голову... и через несколько мгновений из-за укрытия вышла мужская фигура. Марк не сразу узнал в ней своего садовника. Так вот для кого была эта песнь...

Но свидания не получилось. Садовник жарко заговорил на том же чужом языке, с шипящими и гортанными звуками, каких не бывает на бирюзовой Адриатике. И девушка отвечала ему робко, но твердо, и стало ясно, что песня — не для него.

Марк подошел поближе — рабы заметили его, смущенно поклонились.

— Кажется, я знаю значение одного слова на этом языке, — усмехнулся он, — «ахава» — ведь это «любовь»?

— Мой господин проникателен, — отвечал Черенок на том же греческом, — как ангел Божий. Это воистину так.

— И вы спорили здесь о любви? Тебя отвергла Эйрена, она любит другого?

Девушка вспыхнула и потупила взор. Ну да, все понятно. Так и ведут себя девчонки, когда открывается их сердечная тайна.

— И вновь ты проникателен, о мой господин, — отвечал Черенок, — но если бы она отвергла притязания лишь одного недостойного потомка Авраама, в том не было бы беды. Я уговариваю ее вернуться к народу своей матери, на языке которого она только что пела.

— Красивая песнь, — согласился Марк, — и отлично была она спета. Переведите мне ее.

На сей раз отвечала Эйрена, глядя прямо в лицо Марка. И глаза ее были серыми с капелькой голубизны, как волна Адриатики в ненастный день.

— Да, Господин. Эта песнь давно есть и на греческом:

Положи меня печатью на сердце,
Перстнем с печатью — на руку.
Ибо крепка любовь, как смерть,
Как преисподняя, ревность жестока,
Пышут пламенем ее стрелы.
Не погасить любви водам многим,
Не залить ее потокам.

— И кто же твой возлюбленный? Или ты пела сейчас гимн Солнцу?

— Мой возлюбленный — Солнце Истины, наш Господь Иисус. И я иногда, если позволяет работа, выхожу утром из дома, чтобы сказать Ему об этом.

— А что имеешь против этого ты? — спросил Марк у садовника, но сам же не дал ему ответить. — А впрочем, подожди. Сегодня прибудет этот их жрец с материка, Алексамен. И однажды я забавы ради устрою спор между вами. Посмотрим, сумеет ли кто-то переубедить другого.

Садовник приободрился — ему явно не терпелось блеснуть ораторским искусством. А Эйрена так просто просияла:

— Благодарю тебя, господин! Ты так добр к нам!

— Просто мне скучно, — равнодушно отозвался Марк.

Он не стал им объяснять, что идет по следу Спутницы. И уж тем более — что утренняя песнь Эйрены, преобразившая зимний мир, оставила и в нем какой-то

след, или даже вопрос. И хотелось ответа.

Алексамена, жреца этой странной секты, Юст привез с материка в середине дня. Марк соизволил передать ему через Юста приглашение к обеду, делая его своим гостем — честь ничем не заслуженная и совершенно неожиданная для любого жителя этих мест. Впрочем, если это был жрец, а не простой рыбак, торговец или кузнец, с ним на всякий случай стоило ладить — так можно было расценить это приглашение.

Но Алексамену было словно бы все равно. Он вошел в зал, высокий стройный мужчина слегка за сорок, с короткой бородой и слегка прищуренными глазами (как потом оказалось, он был близорук), вежливым поклоном приветствовал хозяина. В триклинии, обеденном зале, накрыто было на четверых: Филолог всегда трапезничал с Марком, как истинный нахлебник (греки еще говорят «парасит»), а Юст... его Марк пригласил на этот раз для того, чтобы уравновесить присутствие Алексамена. Ровней ему был явно Юст, а не Марк, так что обед терял статус торжественного и становился деловым, будничным.

Да и блюда были вполне привычные: легкая закуска все из того же сыра с травами и вареными яйцами, привычная легионерам каша из ячменя с нутом да запеченная рыба. На Острове рыбы было вдоволь, она не считалась признаком богатого застолья. Сладкого сегодня не подавали, Марк его вообще не любил, хотя Рыбка умела печь из пшеничной муки прекрасные медовые лепешки. Разве что стояло на столе блюдо с виноградом, больше, может быть, для украшения, чем для еды. Пили местное кисловатое вино, разбавляя его, как обычно, водой.

Но Алексамен словно и не замечал, что ему подают — соловьиные ли язычки, солдатскую ли кашу. Ел понемногу, неразборчиво, еды не хвалил, что за многими столами показалось бы невежливым. Зато по просьбе хозяина рассказывал свою историю.

— Мой отец, если ты, досточтимый Марк, со своими домочадцами хочешь о нем услышать, родом был иллириец. Он из той знати, которую вы, римляне, поставили управлять завоеванными землями и даже даровали ей гражданство. Сам он из города Ризон^[63], что неподалеку отсюда спрятался в самой глубине прекраснейшего на свете морского залива, словно младенец внутри утробы. В этом городе зимой бывает мало солнца, потому что его окружили горы, но зато ему неведомы бури, воздух в нем считается здоровым, и пресной воды достаточно.

Мать моя была его рабыней, которую он купил на склоне лет. Она родом с севера, из германских земель, но не помнит их, потому что была похищена у родного племени и продана в рабство в раннем детстве. У нее светлая кожа, которая не выносит обильного солнца, и золотистые волосы. Может быть, именно потому отец... отец действительно любил ее и окружил негой и заботой. Она жила в его доме не столько на положении наложницы...

— Почему же, — перебил его Марк, — он тогда не освободил ее, не сделал своей женой? И ты бы стал его наследником. Немало таких случаев в Риме: вчера рабыня, завтра жена. Не очень, конечно, это одобряется молвой... Но вполне законно.

— Если даже в Риме не одобряется — вздохнул Алексамен, — что и говорить про нашу глушь. Жена моего отца из такого же знатного иллирийского рода, а у нас, иллирийцев, многоженства нет. Расторгнуть этот брак, каким бы ни был он постылым, означало бы для отца развязать войну между родами.

— Зато никто не запрещал ему маленьких мужских удовольствий? — хмыкнул Марк.

— Ему — никто, — подтвердил тот, — и я отцу тоже не был безразличен, как сын женщины, ставшей его утешением под старость. Он дал мне воспитание, освободил меня и даже поставил управлять одним из своих дальних имений. Род отца очень богат. Только... вы же понимаете, что никогда, никак не перейти мне было грани, которая отделяет свободнорожденного от вольноотпущенника, законного сына своего отца — от раба, которому он оказывает незаслуженную милость.

— Было? — переспросил Филолог, — а что изменилось с тех пор в нашем мире?

— Именно об этом и мой рассказ, — ответил Алексамен, — но не все сразу. Для начала сообщу, что мой отец умер в свой срок. И вступивший в наследство брат, который совсем не считал меня братом, продал мою мать и не дал мне знать куда, а меня, свободного человека, прогнал на все четыре стороны. Ему ненавистно было само родственное сходство между нами. Свобода обернулась для меня тогда нищетой. Раб, как вы понимаете, по меньшей мере, сыт и согрет, хотя бы часть времени, но кому нужен чужой вольноотпущенник?

— Ты мог снова продаться в рабство, — предположил Марк, — но предпочел свободу, так?

— Именно. Я отправился в путешествия, а точнее сказать, скитался в поисках пропитания и в слабой надежде найти свою мать — те купцы, которые увели ее с собой, прибыли на корабле издалека, их кожа была смуглой, а одежда и говор необычны. Боюсь, мне не сыскать ее ближе Египта или какой-нибудь Мавритании... Да и лет прошло много, жива ли она — и если даже я ее найду, то как выкуплю на свободу?

— Печальная история, — кивнул Марк, — колесо Фортуны и для тебя повернулось неудачно.

— А знаешь, — улыбнулся тот, — с весельем вспоминаю то время. Да, я утром не знал, где заночую вечером, и бывало, что хлеба не видел по три-четыре дня. Но это было время свободы и время размышлений. Я нанимался то пасти коз, то собирать смоквы, порой даже удавалось устроиться на книжную работу — я ведь умею и читать, и считать. Писал письма для малограмотных земледельцев, вел счета в какой-то лавке. Но все это было зыбко, ненадежно, и в то же время не лишало меня обретенной свободы.

— Отчего же ты не нашел патрона, как мой секретарь Филолог? — спросил Марк.

— Да, господин, без своего патрона вольноотпущеннику податься некуда, ему

никто серьезного труда не доверит, так уж устроен этот мир. Я размышлял об этом. Может быть, просто не попалось доброго господина, подобного тебе. Но войти в чужую клиентулу^[64] — это означает не просто утратить свободу. Каждый день и каждый час мне пришлось бы доказывать своему новому патрону и его клиентам, его собственным отпущенникам, что я не хуже их, что предан ему не меньше. А мне хотелось быть собой.

Впрочем, в одном месте у меня получилось что-то похожее. В Гераклея Македонской^[65] я на какое-то время примкнул к иудейской синагоге.

— А при чем тут иудеи? — удивился Филолог.

— Можно сказать, они меня подобрали. Но я и сам стремился к ним. Знаете, добрый мой господин Марк и его друзья, я ведь действительно много размышлял. Ночуя дождливой ночью на голой земле, да еще и на голодный желудок, поневоле предаешься размышлениям о судьбах мира. К тому же, как я уже вам говорил, я был обучен чтению и письму и, пока был жив отец, наслаждался премудростью древних, в особенности философией Эллады.

— Так другой и нет, — равнодушно отметил Филолог, — как нет легионов, помимо римских, нет никакой философии, помимо эллинской.

— Возможно, — уклончиво согласился тот, — но я читал и другие книги. Об Исида и Осирисе, о вавилонских божествах. И этот иудейский Закон, данный народу свыше через мудреца по имени Моисей, читал тоже. Больше всего меня поразили рассказы Платона о его учителе Сократе. Пожалуй, не ошибусь, сказав, что никто из греков не любил истину так пламенно и не пожертвовал ради нее столь многим, как этот муж.

И я заметил у него и у других мудрецов такую черту... Все они говорят как будто об одном. Нет, у них великое множество различий, но все восхваляют добродетель, все порицают порок. И все говорят о божественном начале в человеке. И тот же Сократ, казненный согражданами за отказ почитать божества — вот уж нелепое обвинение! — почитал на самом деле Божество более своих обвинителей. Просто он считал, что исполнение Его воли и жизнь по Его заповедям много важнее древних обрядов.

— Так при чем здесь иудеи? — переспросил Филолог.

— Из всех, кто только попадался мне прежде на глаза, только они говорили о Едином Боге, Творце неба и земли, а это так созвучно было мыслям Сократа. И они рассказывали, что Бог этот благ, что Он побуждает своих последователей творить благо и устанавливает ради этого Свои законы — и здесь полное совпадение. Но есть и отличие. В беседах Сократа есть такая история: узники сидят в темнице и видят на ее стене лишь тени проходящих людей, по которым они могут догадаться о жизни вне стен своей тюрьмы. Но не более чем догадаться, приблизительно и неточно.

Так вот, я подрядился работать на местную иудейскую общину. Особенно занят я был в сатурнов день, который они называют субботой — в этот день им нельзя совершать великое множество действий и поступков, которые, как они верят,

нарушат святость божественного дня и оскорбят Творца. Например, зажигать свет. И очень удобно иметь под рукой человека, который сочувствует их образу жизни, но не связан этими мелочными запретами.

— Да, заносчивость и суеверность этого племени всем известны и навлекают на них гнев богов и людей, — серьезно согласился Марк, — равно как и их скаредность.

— Нет, не могу пожаловаться, они кормили меня и были щедры, расплачивались честно и дали мне доступ к своим книгам — ведь их Закон есть теперь и на греческом. Я помню тот миг... Был зимний вечер, похожий на нынешний. Я сидел в небольшой каморке при синагоге, читал их священный свиток при слабом свете масляной лампы — масло приходилось беречь. За стенами косой ледяной дождь смывал всякую память о лете и солнце, а здесь, в этом свитке...

У меня вдруг возникла ясная картина: мой учитель Сократ и сам лишь сидел в темнице, и я навещал его там, но теперь меня вывели на ясный, чистый простор. И я теперь вижу не тени, а сами явления и события. Я вижу солнечный свет — того Единого, Кто сотворил и продолжает поить любовью Своей этот страждущий мир.

— Отчего бы ему было сразу не сотворить его беспечальным? — спросил Филолог скорее в качестве забавы, чем серьезного вопроса.

— Зло в мир пришло через грех, через нарушение воли Творца, — Алексамен отвечал очень серьезно. — Как мой отец предпочел оставить мою мать рабыней, как мой брат предпочел ее продать, а меня прогнать из отеческого дома, так и каждый из нас иногда выбирает сторону зла. И Бог дал нам эту возможность, потому что хотел видеть в нас разумных, самостоятельных и, даже скажу, — подобных Себе существ. Оставил нам возможность выбирать. И обо всем этом говорилось в Писании, которое было у иудеев.

— Так что же, ты стал одним из них? — спросил Марк.

— Это было возможно, но не так-то просто, господин. Среди множества заповедей, записанных в великих Книгах, многие касаются образа жизни и внешнего вида. Иудеи обрезают мужскую крайнюю плоть, они отказываются от свинины и осьминогов, они исполняют множество самых разных мелочных обрядов. И я не мог понять: как может их учение сочетать такие высокие истины со столь мелочными предписаниями? И неужели Богу, сотворившему Вселенную, действительно есть дело то того, прикрыт ли кожей мой член и ем ли я каракатиц? Тем более что в те дни мне и воробьятины не доставалось, если быть честным.

Но иудеи приняли меня в качестве «прозелита» — человека, пришедшего к ним за мудростью. Такое нередко происходит, им нужны не только свои, но и те, кто к ним расположен, оставаясь чужаком. И так они несут весть о Едином остальному миру.

— Или просто находят людей, которые будут зажигать им по субботам светильники, — усмехнулся Филолог.

— Да, ведь я опять очень ясно видел перед собой стену. В моей жизни было столько непреодолимых стен: между рабами и свободными, иллирийцами и

римлянами, наследниками и изгоями... и вот еще одна — между народом Израиля и язычниками. Да, ее, казалось, можно было преодолеть: пройти через сложные обряды, сделать себе обрезание, взять на себя множество мелочных обязательств относительно пищи и прочего быта... Но неужели, думал я, Бог, Единый и Благий, сотворил этот мир, чтобы строить в нем стены и заглядывать мне в рот? Что-то здесь было не так.

И вот однажды в наш город пришел из Филипп Македонских^[66] человек по имени Симон. Он был странствующий проповедник, по происхождению иудей, а по вере — христианин. Он выступил в синагоге, рассказал об Иисусе-Помазаннике. Его никто не стал там слушать. Ну, представляете: у них была своя вера, свои обряды, свои книги, свои обычаи. И вдруг появляется человек, который говорит: там, за морем, кого-то распяли и теперь все прежнее уже не нужно, ваши правила излишни, ваши заботы бессмысленны. Его вытолкали вон.

Никто не поверил ему, да, кроме нас, прозелитов, а нас было трое при синагоге, двое местных уроженцев и я. Мы услышали ровно то, чего искали: отныне рушатся стены между Израилем и язычниками, свободными и рабами, мужчинами и женщинами, богатыми и бедными, даже между праведными и грешными. Богу нужны все. И для этого Он стирает самую непереходимую черту: Он становится человеком и умирает за нас. Чтобы даже смертная грань не значила ничего: живущий во грехе уже умер, а погибший с верой в Него уже воскрес.

— Ты красиво говоришь, — ответил устало Филолог, — но я могу тебе предложить не меньше софизмов. Живущий умер, умерший жив, Ахилл никогда не догонит черепаху, и все в таком роде. Не убеждает.

— И мне так показалось сначала, — неожиданно быстро согласился Алексамен, — но позже чем больше я слушал рассказов про Иисуса, тем больше понимал, что тут глубина, тут правда. Мы так часто ощущаем слабость и беспомощность в этом мире — Иисус делал слабость силой, а беспомощность победой. И мы можем сказать о себе то же самое теперь. Над нами смеются: мы почитаем Распятого! Да, это так. И в этом наша победа, которую не отнять никому и никак — и даже крест для нас не только угроза мучительной смерти, но и залог вечной жизни.

А потом я отправился вместе с Симоном в Филиппы, где уже была немалая христианская община. Я увидел, как живут эти люди. В первый же мой приход они усадили меня за общий стол и дали ночлег...

— Так сделал и я, — усмехнулся Марк.

— Благодарю тебя и ценю твое гостеприимство, но там было нечто большее. Я ведь только принял тогда крещение от рук Симона, а они... они стали мне отцами и братьями, их женщины — сестрами. Я нашел в этой общине все, чего искал с ранних лет. Так я убедился, что эти слова, которые тебе кажутся софизмами, необратимо меняют к лучшему людские жизни. И стал служить Иисусу. А одна из их девушек согласилась разделить мои странствия и назваться моей супругой.

— Итак, вы верите в Единого, но не соблюдаете иудейских обычаев? — уточнил Марк. — В чем же смысл этой новизны? Вы придумали какие-то новые

праздники и скорбные дни, иные отличительные знаки для последователей своего культа, иные ограничения в пище и одежде?

— Ничуть, — горячо отозвался Алексамен, — просто внешние правила перестали быть обязательными и важными. Кто-то из иудеев, приняв Христа, соблюдает прежние обычаи, кто-то нет. Это уже неважно, стены ведь рухнули. Настало время великой свободы — твоя судьба в вечности определяется не тем, что у тебя в тарелке.

— Зато тем, кто у тебя в постели? — переспросил Марк. — Вы же, говорят, очень строги насчет этого?

— Да, это так, — ответил Алексамен, — ведь есть огромная разница между бессловесной пищей и тем, как ты обходишься с другим человеком. У нас, христиан, принято, чтобы каждый муж имел одну жену и каждая жена одного мужа, а кто захочет и сможет — остается безбрачным. Ибо каждый человек, кем бы он ни был, — образ Божий, и за него умер Иисус. Так и в священной Книге человечество началось с двоих: с Адама и Евы. И двое, соединяясь, служат собиранию человечества воедино, поверх границ и помимо стен. А все, что мешает этому, в том числе и похоть, которая заставляет жить со многими и не любить ни одну, — это грех. В том же, есть ли свинину или говядину, или вообще обходиться овощами, нет большого смысла. Каждый пусть решает сам. Свинина на него не обидится, в овощах нет ничего вечного.

— Нет больше границ... Так может быть, — спросил с немного наигранной строгостью Марк, — вы учите бедных грабить богатых, учите слабых восставать против властей, а рабов — сбегать от хозяев, чтобы обрести свободу?

— Мы учим, — ответил Алексамен, — что богатство, свобода и почет обретаются человеком, когда он принимает в свою жизнь Бога. Все остальное не очень важно. И поэтому мы призываем богатых, сильных и властных делиться и помогать, а бедных, угнетенных и рабов — благодарить за все и довольствоваться бедностью. Раб обретает свободу не тогда, когда восстает против господина, а когда принимает Господа.

— Что ж, — Марк хлопнул себя по колену, — если это действительно так, я не вижу ничего дурного в том, чтобы ты провел завтра свой обряд для христиан, живущих на этом Острове.

— Благодарю тебя, мой добрый господин.

— Но я хочу при этом присутствовать и убедиться, что вы действительно не совершаете ничего запрещенного законом и противного богам и обычаям.

Алексамен на некоторое время замолчал.

— Господин, у нас не принято совершать таинство в присутствии непосвященных. Я могу пригласить тебя... разве что в виде исключения, чтобы не обижать хозяина дома, в надежде, что и ты вскоре сделаешься одним из нас.

— Щедрый они от тебя требуют залог! — рассмеялся Филолог.

— Ну что ж, — ответил Марк, — я не буду давать никаких обещаний. Ты

можешь завтра, когда рабы закончат дневной труд, провести свой обряд. Но я буду его наблюдать.

— Да, господин, благодарю тебя. — Алексамен прижал руку к сердцу.

— Вместе с моим секретарем Филологом. Мне любопытно, что он об этом скажет.

Алексамен и тут не нашелся, что возразить. Да и что он мог сказать? В своем доме всякий — царь, как гласит поговорка. И хочешь совершать свои обряды — договорись сначала с царем, заручись поддержкой его свиты. Так было, так будет, так устроен мир.

На том и был завершён обед, но прежде, чем отправиться на покой, Марк вышел на обычную свою вечернюю прогулку, которую он отменял только в лютую непогоду. И на сей раз взял с собой Филолога.

К вечеру снова стали стягиваться тучи, чуть накрапывал дождик, в мутной мгле не было видно небесных светил — зима собиралась вернуть себе все, что утратила этим утром. Рядом тяжело дышала почти невидимая громада холодного моря.

— Что думаешь об этом чуде? — спросил Марк.

— Нет, разумеется, не он, — отозвался тот, — слишком... рассеян. Не нужно ему твое кольцо. Вот, кстати, вероятно, что его стащил кто-то из рабов: Дак или этот иудей, Черенок.

— Зачем оно им?

— Как символ победы. Рим захватил их земли, унизил их народы, поработил их самих. А они украли римское кольцо. К тому же если удастся им освободиться — вернуться в родные края с этим трофеем. Ну, а нет — так будут созерцать его в уединении. Я бы велел кому-нибудь надежному проследить за этими двумя. Вор наверняка спрятал кольцо и к нему еще вернется.

— Хорошая мысль, — согласился Марк. — А что думаешь об этом их суеверии?

— Ты и сам ответил — суеверие. Ничего особенного, ничего нового в сравнении с нашей философией, ничего хотя бы забавного в сравнении с этими иудеями. А сам ты как считаешь?

— Может быть, этот культ и вправду хорош для бедных и слабых, для рабов, для тех, кому больше не на что надеяться, — с расстановкой ответил Марк. — Но никогда, никогда эти христиане не смогут завоевать сердца сильных. И уж совершенно точно никогда не будут они властвовать над людьми.

Ровно через тысячу двести семьдесят лет по развалинам виллы Аквилиев будут прогуливаться три человека. Двое — в черных монашеских балахонах. Аббат Алоизий невысок, полноват, с залысинами, он кажется старше своих лет. Движения у него плавные, но неожиданно живые, и такая же интонация. Он — настоятель бенедиктинского монастыря, по сути — хозяин Острова, ведь вся земля на нем монастырская. Брат Марк, напротив, худощав, он выше своего аббата почти на целую голову, волосы с проседью, а ухватки будто бы юношеские. Ну а капитан Доминик с щегольскими усиками разодет по последней венецианской моде, как и полагается посланнику республики Рагузы. Она ведь вторая на Адриатике после Венеции, ее вечная подражательница и младшая соперница.

Официальные переговоры только что закончены в аббатстве, а роскошный обед предстоит начать лишь через два часа. Обед будет строго постным, ведь скоро Рождество: все виды рыбы, какие только водятся на Острове, а с ними и гады морские, им же несть числа. Осьминог, запеченный под медным куполом на медленном огне, особенно хорошо удастся братьям-поварам, — это будет главное блюдо.

Доминик, давно не бывавший на Острове, пожелал осмотреть римские развалины. Кого было отрядить ему в помощь, как не Марка — брата-библиотекаря? По правде говоря, вернулся он в родной монастырь совсем недавно из дальних странствий, был при самом папском дворе, и уже никто его и не ждал назад. Но нет, ненадолго задержался, года всего на два с небольшим — отвез редкую рукопись по запросу Его Святейшества и вернулся. А другие монахи, поди, все бы силы употребили, чтобы остаться при его особе хоть последними золотарями.

А этот-то зачем вернулся, еще и с новыми рукописями? За библиотекой в его отсутствие приглядывал, когда находил время, брат Иосиф, старый садовник, да и не особо она нужна, библиотека-то. Богослужебные книги все в церкви, а что там осталось от древних римлян — оно нам без особой надобности. Разве что от самого папы вытребуют. Зато капитан Доминик Рагузанский этих римлян, похоже, очень уж почитает.

— Да, — восторженно восклицает он, — даже на таком удаленном Острове наблюдаются следы римскости! Сколь убо славной была сия древность, и сколь жалости достойно, что лишь толика малая от нее сохранилась.

Они говорят, как и положено образованным людям, на латыни. Нет-нет да и сбиваются, вставляют далматинское словечко, особенно Доминик — ведь далматинский говор и есть не что иное, как испорченная простонародьем латынь. Могли бы говорить и на нем, как на рагузанском рынке говорят, или даже по-славянски, как неграмотные крестьяне. Но это значило бы принизить и бенедиктинский орден, и Рагузу. Вот и подбирают самые торжественные книжные обороты, порой и не к месту, порой и не с теми окончаниями. Брат Марк из троих самый большой грамотей. Как всегда, выделиться старается. Нескромнен, ох как нескромнен...

— В наших краях, — отвечает Марк, — их довольно мало, то ли дело в Тоскане или, тем паче, в самом Риме...

— Вот, кстати, о Риме, — переспрашивает Доминик, — мы же его наследники. Его святейшество, лик которого ты удостоился лицезреть, Бенедикт XII, величается римским папой. Отчего же он живет в галльском городе?

— Это политика, — спешит разъяснить аббат, — нынче французские короли самые наихристианнейшие владыки по всему кругу земель. И силу в своих руках сосредоточили немалую. Той же Тоскане, Ломбардии, самому граду Риму вместе с обеими Сицилиями волю свою диктуют. Так что лучше поближе к кесарю...

— К кесарю? — переспрашивает Доминик, — кесарь же на севере, в германской земле?

— Кесарь, — наставительно разъясняет аббат, — он где угодно. Было время, кесари находились в Риме. Там же были и папы. Потом Константин перенес царствующий град в город, нареченный его именем, на Востоке, а Запад подарил римским первосвященникам в вечное и единоличное владение. В построенном им городе и по сию пору, как ты знаешь, обитают еретики-греки, называющие свое нечестивое царство Ромейским. И даже смеют утверждать, что именно они и есть наследники кесарей. Ну а начиная с Карла Великого, западный наместник Его Святейшества Папы, именуемый императором, обитает в германских землях. Но в последнее время не до нас, грешных, тем германским кесарям, и власть их слишком уж слаба. То ли дело французские короли, храни их Господь... Воистину, хозяева в своем доме — да и они ведь по прямой линии происходят от Карла!

— Политика, — вставляет свое слово Марк, — всюду политика. ..

Он, кажется, разочарован.

— И меня терзают смутные сомнения, — продолжает Доминик, — ведь нынешний папа опять из галльской, или, говоришь ты, франкской земли? Так не выходит ли, что король просто ставит своих подданных по произволу, подкупом или угрозой управляя кардиналами и, дерзаю сказать, не давая проявиться действию Святого Духа?

— Захудалей никого просто не нашлось, — отвечает Марк.

— Это как? — вспыхивает аббат, — это ты о чем?

— Да на прошлых выборах папы, знаете ли, были фавориты. А как стали голосовать, каждый отдал свой голос тому, за кого никто другой точно, по их мнению, не станет — за Жака Фурнье. Подсчитали — прослезились. Так и получился нынешний папа.

— Ну, знаешь ли. — Аббат покрывается красными пятнами. — За такие разговоры о Святейшем Отце не миновать тебе епитимьи!

— Но я хотел спросить о другом, брат Марк, — Доминик стремится разрядить обстановку. — Ты удостоился чести лицезреть Его Святейшество. Ты был принят при его дворе. Ты общался, пусть как недостойный монах, с кардиналами, архиепископами и епископами. Ты созерцал многочисленные святыни, лобызал

мощи всех святых, каких только знала Вселенная. Ты, наконец, приобщился к таинству римскости, ведь и ветхий Рим не был оставлен тобой по пути. Удели нам толику от сокровищ своего паломничества, расскажи об этом!

Аббат недоволен. Не брат Марк тут главный. Да, без него пока трудно обойтись, ведь он читает на пяти языках (это не считая всяких просторечий, недостойных называться языками) и сносно пишет на латыни, греческом и славянском. Но не он определяет, что тут считается святыней, нет, не он!

— Да, по правде сказать, — нехотя отвечает Марк, — не впечатлил меня Авиньон^[67]. Что сказать? Папа повелел строить себе новый дворец. Мощный, хорошо защищенный от нашествий. С казнохранилищем, библиотекой, со всем, что только нужно земным владыкам. А если я начну рассказывать, как ведут себя эти епископы и архиепископы, какое место занимает в их жизни Слово Божие, а какое — золотая казна и мирские удовольствия, не миновать мне, добрый господин, епитимьи сугубой и трегубой. Прогнило что-то в Авиньоне. Сильно прогнило. Провоняло насквозь.

— Всяк человек ложь, — резюмирует аббат, — не надейтесь на князей, на сынов человеческих. Церковь свята, но даже высочайшие из князей ее суть грешные люди. Но не нам, не нам, брат Марк, их осуждать. Расскажи лучше о чем-нибудь добром!

— Расскажу, — кивает головой Марк.

Тем временем трое вышли из развалин. Вечер за три дня до Рождества приходит быстро, сырой и промозглый, и так хочется скорее под защиту каменных стен, к горящему очагу, к подогретому вину (ради гостя и в пост можно немного), к уюту и покою. А навстречу троим — местные рыбаки, два простых мужика. Им на ночь глядя в море выходить.

Рыбаки падают на колени, молчаливо прося благословения у аббата. Целуют его милующую десницу.

— Ты... — обращается к одному из них как бы нехотя аббат.

— Сречко, а в крещении Бонифаций, — смиренно отвечает мужик.

— Ты что-то в церкви давно не был, нет?

— Заботы, отче. Детей пятеро, жена болеет.

— Богу, Богу доверь заботы! Неукоснительно — не-у-кос-нительно посещать нужно богослужения!

С мужиком он говорит, конечно, на местном наречии.

— Прости, отче.

— Или ты, — аббат возвышает голос, — сторонник богомерзкой ереси? Той, что кощунственно именуется «богумильской»? Много таких нашлось на материке...

— Никак нет, отче.

— Ну смотри у меня. Да и ты... Христофор?

— Точно так, — отвечает второй, — а по-мирскому Драган.

— А ты исполняй значение своего имени. Десятину давно ли оба заносили? Смотрите, проверю!

Поворачивается, не дожидаясь ответа, отходит от мужиков. Те все еще стоят на коленях в грязи. Кулаки сжаты. И зубы тоже. Дешевле обойдется пока промолчать.

— Только так с этим стадом, — как бы извиняясь за минутную грубость, бросает аббат собеседникам, — так ты, брат Марк, о благом хотел рассказать?

— Да, конечно, — охотно подхватывает тот, — я встретил в Авиньоне удивительного человека. Точнее, не одного, но этот совершенно был особенный. Имя его отец Франциск.

— Прекрасное имя, — с иронией говорит аббат. С тех пор как появился этот выскочка из Ассизи, как основал он свое движение и было оно принято Римом, древнейший орден бенедиктинцев обрел еще одного соперника. Впрочем, это бы ладно. Но эти их идеи о бедной, даже нищей церкви, которая ничем не владеет и ни на что земное не претендует... Да ведь это настоящая ересь! Стоит согласиться с таким — и скоро на месте соборов останутся развалины, а миром будут править простолюдины. Неужели сами францисканцы этого не понимают?

— Да нет, он не из этих. — Марк давно научился понимать своего аббата. — Он книжник.

— Это прекрасно! — восклицает Доминик, — книжная ученость очень ценится при дворе Его Святейшества, я уверен!

— Ну, не всегда, — уклончиво отвечает Марк, — а главное, она не очень совместима с авиньонскими нравами. Так что отец Франциск переселился в небольшую деревеньку — как раз на таком расстоянии от Авиньона, чтобы приезжать к папскому двору, когда понадобится ему, а когда понадобится он — чтобы слишком далеко было посылать. Прекрасное место у подножия цветущих гор, красота почти как у нас, только вместо моря быстрая река. И пишет, пишет, пишет...

— О чем же? — переспрашивает аббат.

— О... разном. В основном стихи. Пожалуй, самое интересное — то, о чем он говорит, но не пишет, потому что не понимает, кому это нужно, кто это будет читать. Он хотел бы положить на бумагу свои мысли о сути монашеского делания.

— Прекрасный предмет! — соглашается аббат.

— А еще о свободе человека и его праве на выбор. А может быть, даже о нравах папского двора.

Аббат недовольно хмыкает, но молчит. Что тут можно сказать нового? Все нужное давно разъяснили святые отцы.

— Люблю ученые беседы, — некстати встревает Доминик, — но при чем тут стихи?

— Знаете, — отвечает Марк как бы немного не в тему, — что действительно потрясает у отца Франциска — так это «песенки»...

— Песенки?

— Он так их называет. Да вы послушайте...

Марк останавливается, легким кашлем прочищает горло от сырости зимних туманов, отставляет руку в риторическом жесте и начинает:

— *Que' ch'infinita providenzia ed arte...*

Но Доминик не дает ему дочитать:

— Как? Отчего такое варварское наречие в устах столь ученого клирика? Неужто нельзя сказать было на латыни? *Qualis infinita providentia et ars* — почти то же самое, а насколько благороднее звучит!

— Скажу вам, друзья, что с тех самых пор, как на флорентийском прозвучали бессмертные строки Данте, этот язык приятен музам... угоден Господу не меньше латинского. Но послушайте лучше дальше.

Кто мирозданье создал, показав,
Что замысел Творца не знал изъяна,
Кто воплотил в планетах мудрость плана,
Добро одних над злом других подняв;
Кто верный смысл ветхозаветных глав
Извлек из долголетнего тумана
И рыбаков Петра и Иоанна
На небе поместил, к себе призвав, —
Рождением не Рим, но Иудею
Почтил, затем что с самого начала
Смиренье ставил во главу угла...

— Ах, как хорошо это сказано! — перебивает его аббат. — Смирение во главу угла. Да, приходится признать, что даже это флорентийское, как ты сказал, наречие способно возвещать божественную красоту. К тому же оно довольно похоже на наше, далматинское. Смирение — во главу. Именно так!

— Да ты не дослушал, отец.

...Почтил, затем что с самого начала
Смиренье ставил во главу угла,
И ныне городку, каких немало,
Дал солнце — ту, что красотой своею
Родному краю славу принесла^[68].

— И о какой из святых эти строки? — удивляется Доминик, — как-то непонятно, ни одного признака. Как можно угадать?

— Ну, — задумывается аббат, — если упомянуто Рождество Спасителя, вероятно, речь идет о Пречистой Деве? Но почему все-таки не латынь, как принято в духовных кантах?

— Потому что эти строки — о земной девушке. Ее имя — Лаура, она ничем не примечательна среди прочих девушек Земли, кроме одного, но очень важного обстоятельства: в нее верно, бережно и нежно влюблен с того самого момента, как он ее увидел, величайший поэт нашего времени. Отец Франциск.

Немая сцена длится долго, даже слишком долго, но ведь бенедиктинцы привыкли к молчанию. Аббат Алоизий не спешит высказать своего возмущения и гнева, он читает про себя розарий^[69]. Доминик удивлен не меньше, но он безмерно уважает брата Марка, повидавшего и Его Святейшество, и величайшего, по его словам, поэта, и боится показаться невежественным и неучтивым простолюдином. Если при дворе Его Святейшества принято теперь писать стихи прекрасным дамам, стоит ли рагузанскому капитану на это возражать?

Тем временем там, поодаль, на безопасном расстоянии, тихо беседуют двое рыбаков. Впрочем, и тут нет спокойствия и в помине.

— Видел? Тюлень с Каракатицей как лихо вышагивают. А с ними еще Чужак этот, откуда только взялся... Петух, как еще назвать.

— Петух и есть. Рагузанский, откуда же еще. Крепко Рагуза за чернобрюхих нынче взялась.

Тюленем они называют отца аббата. Очень уж любит он рыбкой полакомиться — как тюлень в заливе, всю выгребет из их сетей, подчистую. А Каракатица — это, конечно, брат Марк, ведь он всегда носит при себе чернильницу. И пишет, пишет, пишет — а что пишет, того не показывает никому.

— Лова, похоже, не ждать сегодня хорошего. А эти-то, эти...

— Пойти, что ли, посмотреть, чо там они, как?

— Пошли. Незаметно, кустами схоронясь.

— Ну.

Рыбакам только и ждать от этой беседы новой беды — или поборов новых, невиданных, или, неровен час, исследователь нагрянет насчет ересей. Не зря же он богумилами пугал. А что, богумилы люди хорошие, тихие, все говорят. Богу посвоему молятся, без попов, здорово придумано. Против церкви, конечно, не попрешь, но больно уж те попы прожорливы, не прокормишь их... С богумилами проще. Только крепко за них нынче взялись, за богумилов. И не сыщешь, кто они, где они, какие там у них посты да праздники и как по-ихнему молиться надо. Мы уж так, как привыкли, ладно.

А «те попы», и капитан Доминик с ними, словно забыли обо всем и жарко спорят под зимней стылой моросью. Аббат негодует. Нет ничего нового во фривольных песенках, какие развратные мальчишки ясными весенними ночами поют глупым девчонкам. Но приплетать сюда Спасителя? Все это слишком похоже на те новомодные иконы, которые щеголи привозят с другой стороны Адриатики:

человеческие, слишком человеческие выражения лиц, вольные позы. Любуясь такой иконой, поневоле проникаешься самой обычной похотью, а не благоговейным трепетом перед подвигом святых и непорочных дев.

Но песенка превзошла даже и такое непотребство. Клирик, пожизненно обрученный Святой Матери Церкви, позволяет себе играть роль влюбленного школяра! Может быть, у него уже и любовница есть, и детишки пошли? В этом, конечно, нет ничего нового для клириков, включая и бенедиктинцев, ибо слаб человек, сосуд греха, и никакой постриг, никакое рукоположение не избавляют его от дурных наклонностей. Всем известно, что тропы от врат обители до хижины распутной девки нет-нет да и хожены бывают бенедиктинскими стопами. Пожалуй, оно и получше другого разврата, который против человеческого естества случается и внутри обители... Но так грехопадение — это ж не повод для стихотворства! Для покаяния, для умерщвления грешной плоти, сугубой епитимьи. А не для горделивого плетения виршей! Как смеет он, недостойный клирик Франциск, воспевать греховную похоть и распространять свое богомерзкое словоблудие?! Ведь и брат Марк не удержался рядом с таким стихоплетом от падения?

Брат Марк смиренно вздыхает. Да, он говорил об этом на исповеди, он уже почти завершил исполнять епитимью, зачем повторять, да еще в присутствии посторонних. Растет, растет в Воклюзе малыш, схожий с ним лицом и повадкой, и сам великий отец Франциск обещал не оставить его своей помощью и лаской. Только что угодно это было, а никак не блуд. Ибо крепка любовь, как смерть, и не погасить ее водам многим, не залить потокам. И в его жизни такая любовь была, есть, и вечно пребудет благодарная память о ней. Господь не запретил нам любви, и если кто-то в Риме когда-то решил, что безбрачных клириков надежнее и крепче можно будет привязать к папскому престолу, это вовсе не значит, что любовь стала называться блудом, а чудо соединения двух любящих сердец — грехопадением. Это значит, что Рим ошибся.

Но объяснить это невозможно, так что остается помалкивать. Зато он горячо и страстно говорит о том, что отец Франциск совершенно прав: Господь наш принял человеческий облик, Слово стало плотью и обитало с нами, и негоже нам гнушаться этой плоти, ибо нет на свете ничего прекраснее и неповторимее человека. И никакого нет греха в том, чтобы воспевать красоту прекрасной дамы, как от века делали рыцари и менестрели, если не переступает человек положенных пределов.

— Ибо крепка, как смерть, любовь, — говорит Марк.

— Не залить ее водам многим, — отзывается аббат, — но ведь это о любви Господа и Церкви, а не двух грешных человеческих тел. И потоки словес ничего тут не изменят, не зальют установленного от века богоугодного распорядка. Да, распустились нравы в этом вашем Авиньоне, вот если бы в Риме...

— А в Риме, — возражает брат Марк, — в Риме на эту Пасху при всем народе торжественно увенчали лавром главу величайшего поэта нашей эпохи — отца Франциска, попросту Франческо Петрарки. И нет на земле силы, которая бы оспорила эту славу.

Аббат, конечно, напоминает, что есть и небесный суд, что блаженны плачущие,

а не смеющиеся. Но если он перешел к вечному и бесконечному — значит, этот маленький земной спор он безнадежно проиграл и сам сознает это.

А вот капитан Доминик доволен. Если теперь чернорясцы, как и прочие нормальные люди, влюбляются в девушек и поют им приветные песенки, с ними будет гораздо проще договориться. И с девушками, пожалуй, тоже. Надо будет попросить этого библиотекаря написать слова, а потом немного поправить их, перевести на рагузанский говор, подобрать подходящую мелодию и спеть при случае Марианне. Обязательно спеть! У Доминика красивый голос и отменный музыкальный слух.

И кстати, неплохо устроено у соседей-сербов: у них попы женатые. Всегда есть возможность обсудить дела не только с батюшкой, но и с его матушкой. Надо бы и нам так завести в Рагузе. Да и вообще, многовато что-то спеси у этих умников, вообразили себя наместниками Господа Бога на земле. Хорошо бы нам церковь попроще и, главное, подешевле. Ну, и насчет девушек повнимательней к нуждам простых прихожан. Чтобы без лишних этих строгостей. Может быть, и вправду грядут из Авиньона перемены? Ну а если не из Авиньона — то хоть бы и из-за Альп, где притаился этот Римский по одному только своему названию кесарь... Поди, придумают там облегчение нашей вере.

Но пока что капитану Доминику срочно нужно уединиться, он чувствует позыв природы — все же монастырский завтрак был слишком обилен. И он, извинившись перед честными бенедиктинцами и сославшись на срочное желание уединенной молитвы в часовне, ускоряет шаг, чтобы там, за поворотом, свернуть в кусты и облегчиться. Высокие материи никуда не денутся, а грешная плоть требует своего.

Аббат уже почти успокоился. Теперь, когда они вдвоем, настало время обсудить главное. И уже по-далматински, так проще, да и рисоваться теперь не перед кем. Эти двое знают друг друга слишком давно и хорошо, чтобы надеяться произвести доброе впечатление.

— Оставим твои песенки, брат Марк. Есть у нас посерьезней забота. Ты же понимаешь, чем занята Рагуза? Наш Остров прибрать себе хочет. Да-да-да. И Святейший отец не поможет. Что ему мы, бенедиктинцы? Он сам цистерцианец. Мы для него... эх, да что там говорить. Нет у нас той силы, чтобы Рагузе противостоять. Захватят они Остров.

— Ну так нас же не прогонят? — возражает брат Марк. — Будем молиться, как и прежде. Ничего.

— Ну да! — чуть не подпрыгивает аббат, — а земли кому? Десятины? Рагузанцам? И так лопнут скоро от жадности!

Марк с трудом удерживается, чтобы не возразить: первым от нее точно лопнет аббат.

— Это политика, брат мой Марк. Это теперь называется политика. Но даже не в Рагузе самая большая опасность. Ты же знаешь, что там, на берегу, ныне — Сербское царство. Стефан Душан^[70], провозгласивший себя кесарем, затмил величие Ромейской греческой державы и прибрал под свое крыло все материковые

земли. Того и гляди, положит лапу на Острова. Лучше уж отдаться Рагузе, чем...

— А чем плохи сербы? — спрашивает Марк.

— Да ты в уме ли, брат! Еретики! Раскольники!

— Так еретики или раскольники? Это два разных чина.

— Они не чтут папу! У них священники женатые! И вообще... мы тут Душану будем, что ли, подчиняться?! Отродясь такого не бывало...

— Мне вот видится, есть куда большая опасность, чем сербы. Это турки. Они вовсе не веруют во Христа.

— Турки? Османы? Агаряне которые? Они тихо сидят себе за Босфором и никому не мешают. А если немного пощиплют греков, болгар и сербов, нам это только на пользу, брат Марк. Это политика. И у меня к тебе деликатное поручение...

Марк настораживается, но молчит.

— Ты же знаешь, что здесь, на Острове, полно тайных богумилов, а еще сербских раскольников, а возможно, и богомерзкие иудеи пустили свои корни на нашей земле. Нам нужна твердая, крепкая вера. И тогда, может быть, мы упросим кого-нибудь при дворе Святейшего Отца, к примеру твоего Франциска, даровать нам аудиенцию, переговорить, мы убедим Его Святейшество надавить на Рагузу... Но для этого надо поднять благочестие на этом Острове.

— Политике — не поможет.

— Не рассказывай мне, чего не знаешь! Все возможно верующему. И для начала — привести саму веру на Острове к крепкому, надежному образцу. Что мы видим сейчас? Разброд и шатание. Народ почитает какую-то святую Миру, она же Ирина. От нее ни мощей, ничего, кроме каких-то бус, якобы с ее шеи. Я повелел убрать их в ризницу, кстати, не место им на престоле. Тоже мне, Мира... небось вроде этой Луары... Лауры... чьей-то воспаленной фантазии. Якобы первая христианка на Острове. И еще какого-то Евстафия чтут, мол, он не то крестил варваров, не то погиб, защищая святыни. Ничего нет достоверного — ни мощей, ни жития. Мы проверяли.

Итак, твоя задача — подобрать Острову настоящего, хорошего, надежного святого покровителя, лучше двух или даже трех. Апостолов, чудотворцев, епископов. Ведь все они где-то тут проплывали, останавливались наверняка у нас. Найди в житиях какую-нибудь зацепку, а брата Фому-ключника я попрошу справиться насчет мощей, где можно добыть и по какой цене. В Венеции, конечно, больше всего мощей, там и скидку хорошую сделают, если узнают насчет Рагузы. А то и в Авиньон тебя снова отправим, ты ж, поди, скупаешь... Но сначала надо определиться с именами — кого именно искать. Ты меня понял?

— Чем, — переспрашивает брат Марко, — не угодила тебе, отче, святая Мира? Сколько помню себя, чтители ее на Острове. Тем ли, что похожей показалась на Лауру — музу великого Петрарки?

— Все эти ваши музы и аполлоны мне без надобностей, — отрезает аббат, —

даже если на них нынче и мода в Авиньоне. Мне нужна крепкая, надежная, простая вера простого народа. И ты, брат библиотекарь, мне поможешь ее утвердить. А там и церковь переосвятим с Божьей помощью, положим в нее мощи настоящего святого — ив Авиньон за подмогой. Сам посуди, можно ли отдавать Рагузе Остров, где почивают мощи святого апостола или чудотворца? А ты со своей Мирой... В Авиньон-то хочешь еще или нет?

Брат Марк кивает, он понял задачу. Он хочет в Авиньон, очень хочет. И чуть подальше — в Воклюз, к Петрарке и к своему малышу. К своей далекой и неизменной любви, имя которой он никому не откроет. Нужны святыни — да на здоровье, сделаем Остров родиной коня святого Георгия, или произрастим на нем оливу, из которой был вырезан гребень святой Екатерины, или что там еще... Варлаама и Иоасафа сюда приплетем, о них сербы рассказывают: жил в одной восточной стране беспечальный принц в стенах отцовского дворца, потом случайно узнал он, что есть в мире страдание и смерть, и отправился нищим и босым на поиски просветления. Кажется, это было в Индии. Но отчего бы и не нашем Острове? Чем счастливый принц хуже коня святого Георгия? Вот тут просветление принц и обрел, прямо под этой смоковницей. Марк уже заранее смеется нелепой выдумке. Все-таки на кону Авиньон.

По-своему понимают их беседу и двое простых рыбаков поодаль — только уж очень по-своему. Им все ясно: Тюлень отправил Каракатицу обойти весь Остров и переписать все их нехитрое имущество, все их скудные доходы — а потом обложить десятиной, не упуская ни нитки, ни рыбки. Можно терпеть жадность Тюленя, есть свои способы его обвести вокруг пальца. Но от всезнайки Каракатицы не укрыться бедным рыбакам. Эх, прибить бы его темной безлунной ночью, да и в воду...

И если однажды загорится ветхая церквушка святой Миры, и если при этом обнаружится на пожарище тело брата Каракатицы, то есть, простите, библиотекаря Марка, — даже и не угадать, чья радость будет выше общей скорби. Радость ли простых рыбаков, что некому теперь переписывать все их доходы и что попы получили хороший урок на будущее, красного петуха под кровлю? Или радость аббата, что новую церковь можно будет освятить во имя какого-нибудь порядочного и приличного святого, а от неудобного библиотекаря с его сомнительными связями, да будет Господь милостив к его прегрешениям, избавилась обитель? Или радость Большого совета Рагузы, что наконец-то появился прекрасный повод распространить власть республики и на этот Остров, слишком долго торчавший бенедиктинской костью в рагузанских водах? А может быть, даже радость какого-нибудь молодого посланца церковного трибунала, который сможет сделать хорошую карьеру на расследовании богопротивных еретических преступлений?

А там, далеко от Острова, кудрявый малыш, играя на берегу реки Сорг в цветущем Воклюзе, не узнает о судьбе своего непутевого отца. Но сохранит его имя — крестный отец, Франческо Петрарка, позаботится, чтобы малыша звали Марк Радо, как и его родного отца. Ведь имя Радомирович для счастливого Воклюза выговаривать слишком долго.

Адриатика вечно пахнет ветром и травами, солью и солнцем. В канун Рождества, в позднем Средневековье пахнет она еще и кровью, и лицемерием, но...

было ли здесь когда иначе? И будет ли? Скоро подуют из Италии теплые ветры, и уже сейчас мальчишки на праздниках распевают своим девчонкам простецкие песни, почти такие же, как во Флоренции, Авиньоне и Острове-на-Сорге, неведомом городке-побратиме в Воклюзе, где Франческо поселил малыша Марка с юной его мамой и кормилицей. Пройдут годы, и он споет своей девчонке песню почти как дядя Франческо, ибо крепка, как смерть, любовь, и не залить ее водам многим. И наступит новая весна, которую позднее назовут Rinascimento — Возрождением. И будет еще больше лицемерия и крови, но эта весна выдастся особенно прекрасной. И пока есть на Земле Южная Далмация, потомки Марка Радо будут в нее возвращаться.

Таинство. История спутницы

Весна пришла, как обычно, именно тогда, когда ее устали ждать. Дожди и ветра не то чтобы исчезли — налетали пореже, студили поменьше. Но дело даже не в этом. Что-то иное возникло в воздухе, то ли запах распутившихся первых цветов, то ли игра солнечных лучей на так и не опавшей листве — а может быть, море однажды сменило свинец на бирюзу и укуталось легкими утренними облаками вместо тяжелых туч. Да, наверное, море. В Южной Далмации все начинается именно с него.

Спутницу найти так и не удалось. Месяца два следили Филолог и Луций за Даком и Черенком, прочесывали окрестности, выискивая то дупло в дереве, то свежеперевернутый камень в надежде обнаружить пропажу — все впустую. И никаких следов. Может быть, эти поиски кольца показались бы безумием любому стороннему человеку, но для Марка из рода Аквилиев не было занятия важнее. И только один человек задал ему об этом вопрос — и это была рабыня.

Воробушек, так теперь называл он ее про себя, а порой и вслух. Какой же она все-таки воробушек... Она так хорошо убирала в его доме, была всегда так приветлива и послушна — просто загляденье. И было даже неясно, отчего для утоления глухой мужской тоски он взял не ее, а Рыбку, смугловатую и молчаливую рабыню-иллирийку, помощницу кухарки. На ложе она оказалась в меру скромна и в меру горяча, чего, конечно, никак нельзя было ожидать от Воробушка с ее дурацкими голубыми бусами и шрамом через все лицо. А может, просто жалел он Эйрену, видел, что ей будет не по нраву делить с господином ложе. Хотя когда и кого интересовало мнение рабыни по такому поводу?

Или просто вышло так, что Марк, не принимая ни слова из всей этой болтовни про ее суеверие, просто запомнил ее лицо на том их таинстве. Это действительно было лицо невесты, идущей к своему жениху. Они собрались тогда вечером, все христиане Острова: жрец, или, как они его называли сами, пресвитер Алексамен, ветеран Луций и Воробушек-Эйрена. И пригласили на первую часть своего собрания всех, кто был в доме. Черенок мог прийти, но отказался, а Стряпуха с Рыбкой были заняты на кухне. Юст пришел и был молчалив и спокоен, зато Дак слушал в оба уха и чему-то иногда улыбался. Луций привел даже пару своих ветеранов. Ради такого случая им был выделен триклиний, словно знатым господам.

Для начала были какие-то речи, рассказ об Иисусе, умершем ради всего мира и воскресшем, — Марк не особо вникал в суть, тем более что Алексамен накануне все это уже пересказал за обедом. Еще Алексамен говорил о вере, надежде и любви как трех сестрах, старшая из которых — любовь. Звучало красиво и вполне по-римски.

А еще были песни — и Воробушек снова оказался настоящим соловьем. Почему она никогда не предлагала послушать свое пение господину? Стеснялась? Берегла себя для этого самого Иисуса? Да и у Алексамена оказался глубокий и сочный голос. А простой вояка Луций вполголоса подпевал, лишь бы не испортить общего хора. Вышло очень даже неплохо.

А потом они, смущаясь, попросили все же выйти всех непосвященных, кроме

Марка, потому что им предстояло совершить свое главное таинство. Да и на Марка они поглядывали так, словно он стоял зрителем у ложа новобрачных... И воображение уже рисовало богатые картины — а все оказалось буднично и просто. Алексамен налил в чашу вина, разбавил его водой и преломил хлеб — все, как за самым обыденным обедом, только речи они при этом произносили об Иисусе и благодарили его, словно это он был хозяином дома. И потом Алексамен, бледнея и запинаясь, пояснил Марку, что принять часть этого хлеба и сделать глоток из чаши могут только посвященные, и он надеется, что однажды и Марк, но вот до тех пор... — и всякое такое.

Марк только усмехнулся: на то и таинства, чтобы в них участвовали лишь избранные. Он и сам был посвящен в культ Митры — а какой же центурион или даже опытный легионер в этой их Батавии не был? Разумеется, не стали бы они допускать на свои собрания посторонних. Марку было довольно присутствовать, чтобы убедиться: ничего ужасного не происходит. Поощрять такое, пожалуй, стоит не часто, но в награду за верный труд — вроде Сатурналий, на которых рабы занимают на время место своих господ.

Вкусив хлеба и испив вина, христиане спели еще два коротких гимна, и Марк подумал, что ради удовольствия слушать этот голос он, пожалуй, снова пригласит Алексамена когда-нибудь весной. Конечно, всегда можно было ей приказать. Но тогда бы это был ручной воробушек — соловей поет только на воле.

И вот этим весенним днем он подошел к Эйрене, которая опять что-то там мыла и чистила, и сказал:

— Хочу тебя порадовать. Я снова пригласил Алексамена, он прибудет дней через десять, чтобы совершить этот ваш обряд.

Эйрена улыбалась всегда только взглядом, ее губы оставались неподвижными — но как просиял ее взгляд от этих слов!

— Как мне отблагодарить тебя, господин?

— Пением. Ты прекрасно поешь, и я хочу еще раз — и не один — это услышать.

Она смутилась и прижала руку к сердцу — будь у нее выбор, она бы явно предпочла этого не делать.

— Это такая малость, господин... А чем я могу помочь еще?

Глупый маленький воробушек и не знает, чем юные девушки могут отблагодарить своего господина. Хотя он и так может взять все, что ему принадлежит, не спрашивая разрешения и не ожидая согласия. Но... Было для него что-то поважнее рядовых мужских побед.

— Помоги мне вернуть Спу... мое золотое кольцо. Кто-то его похитил.

— Я не знаю кто, господин... — она отвечала искренне, сложив руки перед собой, смиренно, как и полагается рабыне. Но в ее взгляде была недосказанность.

— Говори.

— Я...

— Говори же.

— Я пробовала молиться об этом кольце, чтобы оно вернулось к тебе. Но знаешь... тут я поняла, что не могу этого сделать с чистой совестью. Мы могли бы помолиться всей нашей маленькой общиной, такая молитва может многое. Но только мы должны быть уверены, нам надо знать...

— Что?

Воробушек так трогательно верил в волшебную силу своих слов, что глупо было бы ему не подыграть.

— Я должна знать, не идол ли это. Если ты поклоняешься той девушке на кольце как... как божеству, мой добрый господин, я не могу просить Бога, чтобы Он вернул тебе кольцо.

Марк рассмеялся.

— Будь спокойна насчет этого.

— И все-таки...

— Ты хочешь услышать историю кольца? — спросил он ее, глядя прямо в глаза. Любой без исключения раб должен был потупиться и отступить. Одна собственность не спрашивает хозяина о происхождении другой.

— Очень, — ответила она и не боялась при этом пощечины.

— Расскажу, — неожиданно для себя ответил Марк. Он никому и никогда не рассказывал этой истории — но какой вред может быть ему от воробушка? Или даже от соловья. И добавил, словно говорил со свободным человеком:

— Только отчего бы нам не выйти из дома на берег? Погода прекрасная, и шелест волн составит прекрасную приправу к моему рассказу.

— Как ты добр, господин! — Ее восхищение было таким же милым и неуместным, как и ее невольное нахальство.

— Мне просто скучно, — с деланным равнодушием ответил он. — Пойдем.

Они вышли на берег. Море после тяжелой зимы наконец-то дышало легко, с гор веяло шалфеем и мятой — или, скорее, их предчувствием. Тем самым теплым ветром, который разнесет их запах по Острову в жарком июле и заставит поверить в бесконечность лета. День был ясным и свежим, рядом не было никого, и можно было беседовать, о чем пожелаешь и с кем угодно, но... он был готов о таком рассказать почему-то только Эйрене.

— Это кольцо — подарок матери, — начал он, — оно из ее рода. Не от Аквилиев. Впрочем... я расскажу по порядку. Мне было двенадцать... А впрочем, нет, началось еще раньше.

Он замолчал, словно не зная, чем можно с ней поделиться.

— Лучшая на свете мама, да? — неожиданно переспросила она сама.

— Ты откуда знаешь? — ответил он легко и просто, словно ему опять было двенадцать и они просто болтали с соседской девочкой.

— Да по лицу же твоему видно, — серьезно ответила она, — что лучшая на свете. Для тебя. Ты так говоришь о ней... У меня тоже такая.

— Отец... — он уже не знал и сам, что можно ей сказать, а что не нуждается в словах.

— Слава Рима, — кивнула она, — гордость предков. Ты наследник. Да?

— Да.

— А мама просто любила, да?

— Слушай, — он не сердился, но искренне удивлялся, — откуда, откуда ты знаешь это?

— Я же живу в твоём доме, господин мой Марк. И... я вижу тебя. И благодарю каждый день за тебя Бога.

— В общем... — Он решил прервать эти ненужные словоизлияния, а то еще пойдет что-то про тех трех сестер: веру, надежду и... как там звали третью? Он уже не помнил. — В общем, заболел я, когда было мне двенадцать. Тяжело заболел. Амулет не помог. Знаешь, маленький амулет — две скрещенные руки, как водится у Аквилиев. Из чистого золота, ибо не страшится оно ни ржавчины, ни сглаза. Но не помог амулет. Его потом раздробили, смешали с золой и выбросили в Тибр. А я был болен, и говорили, что смертельно.

Я лежал в своей комнате в жару и бреду. Стены комнаты разбегались до края круга земель, распахивались и впускали в мой мир чудовищ — они скакали, выли, но самое страшное, что они были не из этого мира, их ни о чем нельзя было попросить, им был безразличен умирающий мальчик, свидетель их плясок. И меня в этом мире почти что уже не было. А потом они стремительно сдвигались, эти стены, схлопывались у меня на горле, и скачка переходила внутрь моего тела — бил озноб. Я уже просил подземных богов забрать меня поскорее, отпустить в беспамятство, только бы не боль, и главное — не ужас этих скачек...

А потом пришла мама. Она редко входила на мужскую половину — у нас ведь был старый римский дом, никаких этих... знаешь...

— А тебе очень ее не хватало, — ответила Эйрена.

— Да, — он сглотнул. Почему-то было не стыдно говорить ей такое, словно она и сама знала всю историю заранее.

— И она дала мне прапрапрадедово кольцо. Она, знаешь, была единственной выжившей дочерью своего отца, сыновей у него не было. Так что родовое кольцо унаследовала она, взяла его с собой в дом моего отца помимо приданого, как главную святыню прежней семьи. Она мне показывала его еще давно среди своих украшений, но кто же допустит, чтобы римский мальчик играл женскими бирюльками?

А тут она просто пришла с ним и надела мне его на шею, на нитке. Отец лишь

наблюдал. Он уже готов был меня хоронить, терять было нечего, не до родовой чести, не до правил мужской половины. Чужое кольцо. А мама... Она просила всех богов, она заклинала предков, она кропила меня кровью жертвенной голубки и делала что-то такое, от чего становилось прохладней и спокойней... Я не знал, что именно, я был в бреду, и чудища от краев земли мешались для меня с лицами родных людей и домашней прислуги.

— Бедный маленький мальчик, — тихо и просто сказала Эйрена. Не могло быть такого разговора между рабыней и ее хозяином. Никогда не могло быть. Но вот он был.

— А потом я стал понемногу подниматься из этой влажной и тесной глубины к свету и жизни. И мама все время была со мной — а чудища отступали, затихали вдали, и комната переставала раздуваться и сжиматься, в нее возвращались обычный земной свет и звуки повседневной жизни — они звучали песней триумфа. Только я был еще пуст и слаб, как глиняный кувшин, и мамины слова падали в меня, как тяжелые капли влаги, растекались по днищу, я ничего не мог тогда собрать...

Она рассказывала историю этого кольца. А еще читала мне «Энеиду» — это поэма великого Вергилия про то, как Эней вышел со своими спутниками из горящей Трои и прибыл к нам в Лаций. Так заложил он основы Рима.

— Кольцо было от самого Энея? — ахнула она.

— Нет, наверное, но так я тогда запомнил. Эней ведь остановился по пути в Карфагене, в него влюбилась местная царица Дидона... но Эней оставил ее, и это стало началом вражды между Римом и Карфагеном. Бросил, и все.

И знаешь, мне отчего-то запомнилось в этой горячей и влажной пустоте, что предок мой был спутником Энея и ему пришлось со своим предводителем покинуть Карфаген, а там осталась прекрасная дева, которую он полюбил и был принужден оставить. И он заказал себе кольцо с ее изображением, и оно стало родовой святыней.

Но теперь я понимаю, что в горячке все перепутал. На самом деле мой прапрапрадед вместе со Сципионом^[71] взял и разрушил Карфаген. Это было более двухсот лет назад... И девушка была карфагенянкой — их всех тогда продали в рабство. А он не смог ее купить, и не потому, что не было денег, а по каким-то более важным причинам, — деньги ведь решают не все... Или позором стала бы девушка для его рода, или ее, как Брисеиду^[72], отдали в наложницы кому-то важному и значительному. Как бы то ни было, он уже не мог ее забыть. Отсюда и кольцо с девичьим ликом.

— Как много горя приносит война, — как будто невпопад ответила она, и только тут он подумал, что ее собственный Карфаген был разрушен всего лишь год назад. — А ты не просил потом маму подробнее рассказать?

— Она... Мама была со мной день и ночь. Мне становилось лучше. Но когда я смог подняться с кровати, в жару и бреду металась уже она — прямо на сиденье у моей постели. Она упросила богов отвратить болезнь от меня, единственного сына. Но приняла ее сама.

Оба молчали. Все было понятно без слов.

— Ты пела, что любовь сильна как смерть... Но это неправда. Смерть сильнее. И... к маминым похоронам я уже мог выходить из дома. И да, стоял там и плакал, но давился слезами, ведь я же римлянин, я всадник, я наследник своего отца. Не к лицу мне были слезы. А отец... он никогда не хотел говорить об этой истории. Она ведь не имела отношения к роду Аквилиев. Чужая история, чужое кольцо. Только мама взяла с него клятву: до совершеннолетия я носил кольцо на шее как новый амулет. А потом — на пальце, как гражданин и всадник.

И знаешь, что еще... От мамы осталось два портрета. Но они не нравились мне и при ее жизни — они не были на нее похожи. Там была какая-то идеальная матрона, каких, наверное, и не бывает в жизни. А кольцо... Оно стало для меня ее портретом. Может быть, не в силу сходства — мама была другой. А просто потому, что это мамина прохладная рука на горящем лбу. Ее защита.

— Ее любовь, — подсказала она.

— Да, любовь. И вот теперь... Спутница — я так называю эту деву.

— Ты же не можешь называть ее мамой, — согласилась она.

— Она была со мной всегда и везде. И верю, что помогла... что защитила в двух или трех боях, из которых я не думал выбраться живым и без увечий. Особенно тогда, на болоте...

Но она не стала спрашивать про болото. Она вскочила на ноги и горячо, страстно произнесла:

— Мой добрый господин Марк, каждое утро и каждый вечер я буду просить Господа, чтобы Он вернул тебе Спутницу. Вернул тебе твою любовь. И все христиане Острова вместе со мной. Верь, что как только один из нас узнает о ней, он побежит поведать о том тебе.

— Храбрый воробушек, — усмехнулся он, — верю тебе. Но ты кого-то подозреваешь? Кто, по-твоему, мог ее взять?

— А вот бывает... — она как будто тянула с ответом, не хотела говорить, — иногда ведь бывает, что самое дорогое берет тот, кому ты больше всего доверишь...

— Кого ты имеешь в виду?

— Ну... — она сама как будто испугалась догадки, — я не знаю, мне не стоило этого говорить...

— Филолог? — Он сам поднялся на ноги.

— Нет, нет, я никого...

— Филолог, — утвердительно повторил он, — что ж, может и правда.

В самом деле, он посмеивался над его привязанностью к кольцу еще там, в лодке, а ведь сам он не имел права такое носить. Это может быть просто зависть. Или его вечное бахвальство философией — вдруг он хочет преподать Марку урок, что негоже привязываться к вещам, они порабощают нас, а все добродетели

помещаются внутри нас и не нуждаются во внешних символах?

Но объяснять всего этого Эйрене, конечно, не стал. А только сказал:

— Те драгоценности, которые мы приняли в детстве, будь они даже на чей-то взгляд пустыми безделушками, никогда не перестанут быть нашими святынями.

Мальчишки

На этом самом месте будут удить рыбу трое подростков ровно через тысячу восемьсот сорок один год. Им всем по четырнадцать лет, но Стефан уже ростом со взрослого, говорит хрипловатым баском, да, кажется, и усики уже пробиваются. Ему нравится ощущать себя мужчиной. Двое других выглядят помладше, один с нежными, полудетскими чертами лица — так мастера Возрождения рисовали ангелов. Это Леон, он как будто стесняется своей миловидности и в то же время не хочет ее разрушать, говорит доброжелательно и тихо. Третий — Максим, или попросту Макс, тоже с нежным лицом и длинными светлыми волосами, но всеми своими повадками он кричит, что не надо принимать его даже со спины за девчонку. Макс — самый рискованный на Острове парень!

Рядом с ними — деликатная Муся, островная киса. Она знает, что мелочь обязательно бросят ей, да и просто приятно посидеть в хорошей компании!

Клев сегодня не очень хорош, да и вечер наступит скоро. Но этим троим друг с другом никогда не бывает скучно. Говорят, конечно, по-хорватски, на далматинский манер. Не на школьном же немецком и не на скучной латыни трепаться в свободный часок о самом главном!

Стефан басит, уже и не глядя на поплавок:

— Война, братцы, война совсем рядом, а мы тут киснем! Братья-славяне турок проклятых дожали. А те зассали договор мирный подписывать. Перемирие. И ничо! Кончилось ихнее перемирие. Болгары под Адрианополем^[73] стоят осадой, а черногорцы — под Скадаром^[74]. В Стамбуле какие-то «младотурки» власть взяли, воевать хотят — а чем воевать? Армия у них давно вся разбита, в Эгейском море только греческие корабли. И сербы, наши братья, всю Македонию захватили — древние славянские земли! Да что там — родину самого Александра, а он полмира покорил! Точно говорю: двадцатый век будет веком славянства!

Рассудительный Леон отвечает:

— Но ведь наша двуединая не вмешается?

— Хха, еще бы вмешалась! — не терпит сказать Макс, — двинет она войска на черногорцев, так, поди, половина наших на их сторону перейдет...

— Не перейдет, — возражает Леон, — они присягу давали.

— Франц-Иосифу-то^[75], пердуну старому? — фыркает Стефан, — что нам, славянам, австрияки с мадьярами? Век славянства, говорю же вам! Вместе с союзниками-греками! И матушка Россия за нас заступится, если что, теперь будут единые славянские Балканы! И наши острова, не сомневайтесь, скоро скинут немецкое ярмо. Балканы будут нашими! Еще и Константинополь возьмем.

— Война, наверное, еще не одна будет, — задумчиво говорит Макс, — поди, и мы повоюем...

— Ну что вы, ребята, — отвечает Леон почти как взрослый, — на дворе тысяча

девятьсот тринадцатый год. Какие войны? Сто лет назад отвоевались. В Европе все поделено, все устоялось. Нынешняя, Балканы против турок, — так не додрались раньше. Теперь турок прогонят за Босфор и успокоятся. Кому нужны эти войны?

— Австрии и России нужны! — горячится Стефан. — Русские — наши братья, а австрияки нас угнетают. Вот они и будут друг с другом воевать! И наши победят!

— Да ла-а-адно, — тянет Макс, — когда австрияки Боснию забрали, и то драки не вышло. А теперь и вовсе не видеть.

— И вообще, — продолжает Леон своим лучшим взрослым тоном, — «наши» — это австрийцы. Нам с вами еще в армии служить, присягать императору. Немцы — самая культурная, передовая нация Европы, гарантия всеобщего мира на двадцатый век. Нам бы радоваться, что мы в Далмации — тоже часть единого немецкого мира.

— Но сербы и болгары наши братья! — пылко спорит Стефан.

— Мы католики, — рассудительно продолжает Леон, — а сербы, болгары и греки православные. Нам с ними не по пути.

— Мы-то католики? — притворно удивляется Макс. — Это кто тебе сказал? В школе, что ли?

— Ты же сам ходишь к отцу Марку! — удивляется Леон.

— Ну да, хожу. Забавно с ним.

— Это, — смеется Леон, — ты после недавних забав сидишь так осторожно?

— Ну да, — с ответной усмешкой признает Макс, вроде ему все нипочем, — папаня вчера знаешь как выдрал. Нажаловался ему поп.

Отец Марк — молодой священник. Ему недостаточно быть формальным законоучителем в местной школе, он примерно раз в месяц собирает по субботам подростков для бесед о вере, о жизни, о мире — кто хочет, конечно. Все трое — завсегдатаи этих встреч. Стефан за компанию с приятелями, Леон — пламенный католик, а Макс... Ему лишь бы чего отмотать повеселее. Особенно когда рядом София.

Да, отец Марк — неслыханное дело! — пускает на эти встречи мальчиков и девочек вместе. Сидят они, конечно, по разные стороны от него, как и в церкви, но все равно, все равно перешептываются односельчане... Впрочем, из девочек ходит постоянно одна только София, остальным к чему книжная премудрость выше школьной программы? Замужество, дети, кухня, храм Божий. Что еще женщине надо?

А на последней беседе Макса понесло. Он начал с того, что Библия, сиречь Священное Писание, есть непогрешимое Слово Божие и источник всяческой премудрости. Священник, понятное дело, не мог не согласиться... только, зная Макса, не спешил радоваться его прилежанию. А вот дальше понеслось. Макс попросил разъяснить лишь несколько неясных мест из Писания — и кто бы мог отказать любопытному отроку в столь невинной просьбе? Разумеется, любой, кто с

Максом был хоть немного знаком. В том числе и приходской священник. Но он почему-то согласился.

Все началось с Ветхого Завета. Почему в первой главе Бытия человек сотворен позже всех животных, сразу мужчина и женщина, а во второй — сначала мужчина, потом звери и только потом женщина? На ком женился Каин, если единственной женщиной тогда была его мать Ева? Да и у Сифа от кого дети пошли? И что это за таинственные «сыны божьи», которые брали в жены земных девушек как раз накануне потопа? И как вообще получился этот Всемирный потоп — откуда взялось столько воды, куда она делась потом? И главное, как Ной мог собрать в свой ковчег всех животных земли, если кенгуру, к примеру, живут только в Австралии, а гризли — в Северной Америке? Он что, кругосветное путешествие совершил перед отплытием?

Священник сначала отшучивался, уходил от ответа. Потом ссылался на то, что отцы все давно растолковали, и только он по своей занятости и малообразованности (а уж кто лучше него должен в таком разбираться?) не готов точно указать, в каком томе Августина или Аквината^[76] даны соответствующие ответы и на какой странице. А потом все-таки ответил — когда все глаза, и Софиины тоже, были прикованы к Максу.

Это Ветхий Завет, говорил отец Марк, в нем все дано лишь как тень будущих благ, явленных нам в Иисусе Христе. Глаза древних евреев были прикрыты покрывалом Закона, они не могли взирать на Солнце Правды и потому многое выразили иносказательно, притчевым языком. Например, первая глава Бытия показывает человека как венец творения, а вторая подчеркивает первенство мужчины в делах семейных, как равно и церковных, и не нужно тут усматривать противоречия.

Взрослый спорщик, конечно, постарался бы дожать отца Марка на других ветхозаветных примерах. Но Макс сразу двинул в бой свой последний резерв. Так, значит, в Евангелии все правильно и безупречно? Никакого покрывала? Тогда почему два евангелиста, Матфей и Лука, дают разные версии родословий Христа? И это бы еще ладно, ну мало ли, кто-то там списывал у кого-то, как у них в школе, и случайно перепутал. Но вот Матфей и только Матфей рассказывает о Вифлеемской звезде — это что за звезда такая «шла пред ними», если наукой установлено про звезды совершенно иное? Они — раскаленные, огромные и очень далекие от нас тела, подобные Солнцу. Никакая звезда не может так вот взять и залететь в земную атмосферу...

Отцу Марку нетрудно было объяснить, само собой, что понимать это тоже можно не буквально, что звезда, вспыхнувшая на небе, просто направляла волхвов. И что вообще чудо Божье не нуждается в законах физики, которая, кстати, многого еще и не знает о звездах.

Но об истории Рождества Христова Евангелия ведь точно знают все, настаивал Макс. Тогда почему у Матфея сразу после Рождества Святое Семейство бежит из Вифлеема в Египет на несколько лет, а у Луки Младенца Иисуса приносят в Иерусалимский храм, а потом возвращаются в Назарет безо всякого Египта? И

кстати, у Луки нет никаких волхвов со звездой, зато есть пастухи с ангелами, которых, конечно, и в помине нет у Матфея. А Марк с Иоанном на этот счет вообще помалкивают. Так кто прав?

На отца Марка было жалко смотреть. Он что-то там говорил про разные грани премудрости, про то, что ни одна книга не вместит всех Господних чудес, но всем, кто присутствовал, стало ясно: Макс священника срезал. Особенно ясно это должно было быть Софии, которая, конечно, и виду не подавала, что заметила. Но заметила точно.

Ну а потом отец Марк нанес визит родному отцу Макса. Поговорил наедине. И получилось, что получилось. Но Макс совершенно не унывает, он объясняет приятелям: в следующий раз непременно придет и расскажет про Вавилон.

— Вавилон? — удивляется Стефан, — там-то что напутали?

— Там не напутали, а раскопали. Я в журнале читал одним немецком. Даже целая книжка вышла, Делич какой-то написал...

— Делич — наш, хорват? — уточняет Стефан.

— Нет, вроде немец. Он там отрыл в Вавилоне древнем кучу всего, и не только он. Раскопали их древние тексты, они по глине палочками писали, выдавливали вроде клинышков таких маленьких.

— Как же они прочитали, — сомневается Леон, — если больше так не пишут, да и не говорят, наверное, на вавилонском?

— Наука! — торжественно восклицает Макс, — все по науке! Я вот тоже вырасту, денег накоплю, поеду поступать в университет в Вену или даже в Берлин... Там в Берлине в музее все эти вавилонские находки. И знаете, что Делич открыл? Целую книгу написал, называется «Babel und Bibel»^[77] — вот бы достать! Все эти сказания о потопе и прочее — они у вавилонян были задолго до евреев. Евреи у них списали, поняли, парни? Все вавилоняне раньше них придумали!

— Евреи — они такие, — серьезно соглашается Стефан, — только и к немцам тебе ни к чему. Ты башковитый, кто спорит. Только когда вырастешь, здесь уже будет единая страна южных славян. Поедешь поступать в Белград или Загреб. А то, брат, и в Москву. Зачем нам немчура?

— Ну что ты чушь мелешь, — возмущается Леон, — у нас есть своя империя...

— А правит ею пердун-маразматик, — отвечает Стефан, — главное, австрияк.

— Наследник у нашего императора зато знаешь какой? Эрцгерцог Фердинанд — молодой, образованный, и говорят, хочет дать автономию чехам и всем прочим славянам. Будет наша Далмация вроде Венгрии, а монархия не двуединой — федеративной.

— Ага, варезку разинь пошире. Приедет к тебе эрцгерцог и пирожок в рот положит.

— Может, и приедет! Говорят, в следующем году он Боснию посетит, новую австрийскую провинцию. Глядишь, из Сараева и к нам в Далмацию заедет —

недалеко ведь!

— Война будет, — твердо уверен Макс, — все-таки точно будет еще война. На эту не успели, на той отличимся, зуб даю. Меня в офицеры произведут за заслуги.

— Война всех угнетенных за свое место под солнцем! — горячо отзывается Стефан. — Война народов за самоопределение и этих... пролетариев тоже! Свободу добудем себе от этих к.и к.^[78] нужников!

— Дождемся и увидим, — резонно отвечает Леон, — посмотрим еще, как греки и сербы с болгарамы Македонию поделят. Не подерутся ли между собой?

— Славяне — никогда! — твердо уверен Стефан.

Им по четырнадцать, это ужасно мало и ужасно много. Двадцатый век всегда будет на год моложе их, они боятся рано состариться и опоздать на все его войны и революции, о которых никто еще ничего не знает. У них совершенно сегодня не клюет, да им и не надо. Им хорошо друг с другом, со своими мечтами, со своей горячностью, с деланой взрослостью и с недоигранным детством. А по дорожке вдоль берега в их сторону вдет девочка. София. Идет как будто просто так, что-то ей понадобилось — пирожков ли бабушке отнести на другой конец Острова, как в одной старой сказке, или у отца Марка одолжить на недельку катехизис почитать. Неважно. Мимо них вдет вдоль берега.

— Что-то жарко, парни, нет? — неожиданно срывается с места Стефан, раздевается до подштанников, забегает на прибрежный камень, выгибается всем мускулистым и уже не совсем мальчишечьим телом, отталкивается от камня и красиво входит в воду. В свинцовую, ледяную мартовскую воду Адриатики. И три пары глаз теперь — на него. А он выныривает, отфыркивается, раскидывает мокрые черные кудри и плывет размашисто, неторопливо вдоль берега.

Макс кусает губы, что не он догадался. Леон опускает глаза и, наверное, молится. А может, шепчет про себя: «София, я тебя люблю». Или даже «да здравствует Его Императорское и Королевское Величество». У него никогда не поймешь, когда он от себя, а когда просто как хороший мальчик.

— Привет, ребята! — София небрежно встряхивает челкой, — улов как?

— Да... — тянут с ответом двое, поглядывая в ту сторону, где вылезает из воды смуглый, как античное божество, Стефан.

— Вы про Вавилон так интересно говорили друг с другом... Макс, расскажешь мне?

— Да! — вопит мальчишка. Победа его. Очевидная, бесспорная победа. Он произведен в рыцари за особые заслуги, и пусть сидеть пока не очень удобно, это пройдет. А победа останется с ним на сегодня и на всю жизнь. — Леон, рыбу забросишь моим?

Леон молча кивает. Может быть, он чужак и слишком прилежный мальчик, но он хороший друг. Он занесет маисовых рыбешек и удочку его родителям, он обязательно восхитится Стефаном и деликатно промолчит, когда Стефан тоже закусит губу, глядя, как удаляются по дорожке София и Макс, чуть-чуть ближе друг

к другу, чем положено сверстникам-ученикам. Ибо крепка, как смерть, любовь, не залить ее водам многим. И любит Леон своего счастливого друга и уязвленного друга тоже, а больше всех любит Софию и не знает, кому себя прежде отдать.

Да и киса Муся собирается по делам: с рыбкой сегодня не очень задалось, но можно еще сходить к амбару помышковать.

Макс вернется домой поздним вечером, не опасаясь новой взбучки — отец вчера выплеснул всю свою злость, теперь пару недель его не тронет. А у дома... у самого дома его будет ждать смущенный отец Марк, старше его все на те же четырнадцать лет. То есть на целую вечность.

Макс не будет целовать ему руку, много чести. Но священник осторожно положит свою руку ему на плечо — и Макс захочет ее стряхнуть, но отчего-то не сможет.

— Здравствуй, Максим.

— Здрасть.

— Ты... ты извини меня, что так вышло. Я совсем другое хотел твоему отцу объяснить. А он...

— А он меня выдрал. Довольны теперь, да?!

— Очень недоволен, Максим. Опечален. И чувствую свою вину перед тобой. Мне не следовало говорить ничего твоему отцу.

— Ну да, мне-то вы ответить не смогли...

— Я попробую сейчас, Максим. Хочешь?

— Ннну... — мальчишка не уверен, издевается над ним священник или всерьез. И если всерьез, то что теперь — засыплет его цитатами из святых отцов? Поведет к собственному отцу на новую расправу? А и пусть! Вкус первого поцелуя отныне останется с ним навсегда. Этого никто никогда не отнимет у него. Это его орден Золотого Руна, его Константинополь, его Грааль. Что нового сообщит ему этот священник?

— Знаешь, я ведь тоже... я тоже об этом всем читал. И задавал вопросы еще в семинарии. И получал нагоняи.

— За это вас сюда и сослали деревенским священником?

— Да нет, я сам попросил. Я ведь Радомирович — с Острова сам. Хотел помочь здешним людям, они живут в нищете и невежестве, они ждут милости от императора или революции, а я хотел рассказать им про Бога.

— Вавилонские сказки?

— Вавилонские? — усмехается священник, — да, я читал одну книгу, там об этом говорилось. И ты прочитай, она полезная, хорошая...

— Где ж ее взять, — бурчит Макс.

— А я кратко скажу тебе так. Да, в Библии много... много мифов. Неточностей.

Неясностей. Что-то я тебе и сам подскажу, ты до этого просто не дошел — например, цифры в Библии часто просто нереальные. Там в конце книги Судей рассказывается о маленьком бое вокруг одного городка, Гивы, так если прочитать буквально, получается, что было это сражение масштаба Ватерлоо... Есть в Библии путаница, есть.

Макс изумленно молчит. Он переубедил попа?!

— Но, знаешь, это не странно и не страшно. Ее ведь тоже писали люди, хоть мы и верим, что по внушению Святого Духа. Что-то по мелочи напутали, что-то добавили от себя, несущественное, конечно, что-то не до конца поняли. А главное, говорили тем языком, которым могли. Не в смысле еврейским, или греческим, или латинским, как у нас в церкви, — говорили языком своего времени. Языком, если угодно, мифа.

— Дда, — только и выдавливают Макс.

— Но, знаешь, лиши людей этого языка — будет беда. Для кого миф — наша двуединая монархия, *unitis viribus*^[79], Его Императорское и Королевское Величество. Для кого-то — единое братство народов, юго-славянская идея. Для кого-то — борьба угнетенных классов за равноправие. Но вынь из всего этого христианство — получится мясорубка. Просто мясорубка, где людей будут уничтожать только потому, что они не подошли под миф нужного образца.

— А инквизиция? — вспыхивает Макс.

— Да, порой убивала. Но гораздо меньше, чем, скажу тебе, готовы убить фанатики той или иной идеи — имперской ли, националистической, коммунистической и какие еще бывают. И знаешь... я вижу себя стоящим на посту. Часовым против хаоса, против злобы и страстей людских. Я несу им слово о Боге, Который стал одним из них и умер за каждого из них. За каждого, будь он имперец, коммунист, националист, просто рыбак или мальчик четырнадцати лет, умный и честный мальчик.

Священник обнимает Макса, и тот не сопротивляется. Ах, как бы Марк хотел такого сына! Он бы холил его и лелеял, он бы пальцем его не тронул, но... обеты безбрачия нерушимы.

— И знаешь... я много искал, с твоих лет начиная. Мудрость Востока, красота античности, точность науки. И не нашел ничего выше, лучше, чище христианства. Оно держит этот мир от падения в бездну. Уроним его — двадцатый век станет веком кровавого кошмара, веком ненависти и лжи, веком идолов и самоуничтожения человечества. Может быть, есть в христианстве и наивные сказки.

Макс затаивает дыхание. Что говорит этот священник, что! Неужели он... сам думает, как Макс? А тот продолжает:

— Может быть. Но нет ничего лучше и чище этих сказок. Нет другого божества, которое отдало бы себя в жертву за весь мир. Иисус отдал. И я верю в Него... и мне не очень важно, было ли бегство в Египет, или принесение во Храм, или вообще ничего этого вдруг как-то не было. Может быть, напутал Матфей, может, Лука или даже оба, а может, мы с тобой чего-то пока не понимаем. Главное,

было Воскресение. Есть Царство Небесное, оно внутри нас. О нем рассказано в главной Книге, и я не хочу, чтобы люди о ней забыли. Иначе всем будет хуже. Сильно хуже. Я — часовой. Прости, из-за меня тебе причинили боль, это не аргумент, я знаю. Я пытался объяснить твоему отцу, что тебе нужно хорошее образование, что если оставить все как есть, ты можешь пойти по очень опасной дорожке революционеров... но я совсем не справился, зла вчера стало больше. Прости меня, малыш.

Макс пристально смотрит в его глаза... И тает вся его крутость, забывается даже вкус девичьего поцелуя на устах. Он прижимается к отцу Марку. Как жаль, что его отец — совсем другой.

— Спасибо... — шепчет он ошеломленно. Его родной отец никогда не знал этого слова — «прости».

А отец Марк вкладывает ему в руки книгу.

— Знаешь... я прочел это еще в самом конце семинарии, эта книга потрясла меня. Она разрушила глупую попугайскую веру — я раньше только повторял за другими привычные ответы, а теперь стал задумываться сам. Но ты растешь быстрее меня, тебе она пригодится сейчас. Максим — это же значит «величайший». Ты же хорошо читаешь по-немецки? Прочти. А будут вопросы — приходи поговорить. Я не знаю всех ответов, но я всегда буду тебе рад. Честно.

Макс поворачивает книгу так, чтобы на нее падал свет из окна его собственного дома. На светло-коричневой обложке виднеется роскошный вавилонский лев, как будто прямо с раскопок германской археологической экспедиции, а выше написано: «Babel und Bibel. Ein Vortrag von Friedrich Delitzsch».

Адриатика похожа на раннюю юность — так же пахнет ветром и травами, солью и солнцем. И юность самого страшного века тоже бывает прекрасной. Споры мальчишек кажутся пока безвредной болтовней, сомнения взрослых не выплескиваются за рамки вечерних бесед один на один, и рядом плещет холодное мартовское море, и расцветают пахучие травы, и налетают теплые ветры. И гуляют по берегу влюбленные, не успевшие осознать, что сильна не только любовь, но и смерть и что слишком они схожи меж собой. И если есть на Земле возраст прекрасней четырнадцати, может быть, и его мы сумеем прожить.

Погружение. История Дака

Прошлой ночью в кустах неподалеку от дома впервые запел соловей — сначала робко, на пробу, словно проверяя весну на прочность, а потом пошел щелкать, переливаться, дрожать, и не было ничего прекрасней этого звука после дождливой и стылой зимы.

Но Марк не спал по другой причине. Ему не давала покоя мысль, что Спутницу действительно мог похитить Филолог. Он бродил по всему Острову как полномочный представитель самого Марка, и если был человек, который мог сто раз Спутницу переплавить, продать, вывезти или просто уничтожить, — это, безусловно, был он. И если он ее украл, то не для того, чтобы получить немного монет или выдать себя за кого-то, как сделал бы раб. Нет, тут мог быть только сложный замысел, большая игра.

Воображение рисовало одну версию за другой, но Марк вскоре понял, что все они, в конечном счете, приводят в его голове к одному благому итогу: Филолог возвращает драгоценность (ведь он знает, как много она значит!) в обмен на какую-то привилегию или услугу. И он заранее был готов согласиться. А если это просто злоба и зависть? Если кольцо просто уничтожено? Оставалось только следить за возможным вором, надеясь, что он себя нечаянно выдаст.

Утром на Остров прибыл Алексамен. И тем же вечером, добившись согласия Марка, повел всех своих — а заодно и всех любопытных — на совершение еще одного обряда. Он называл его словом «погружение», и именно это действие, по его словам, делало человека христианином.

— Ничего нового, — ворчал Филолог, — тот же самый обряд, что и повсюду. Погружение в морскую воду, омовение, очищение. Примитивное суеверие — когда-то люди верили, что свои пороки они могут смыть так же легко, как дорожную пыль. Вот и тут нечто похожее — но почему они придают старому обряду столько смысла?

Но было тут и нечто необычное. Во-первых, Алексамен на сей раз сделал все, чтобы собрать как можно больше людей — полдеревни пришло полнотушествовать. Во-вторых, оказалось, что это посвятельное омовение проходят совсем не обнаженными, как во всех порядочных культах. На будущей христианке была длинная белая рубаха иллирийского кроя, нечто подобное носил и сам Алексамен.

А вот кем была эта неопитка — в этом был главный секрет. Тевда — островная сожительница Луция, из местных. Бойкая молодая бабенка с крепкой фигурой — да уж, вот тут можно было пожалеть, что омовения у них не принято совершать нагими. Впрочем, тогда бы они точно не созывали всю деревню.

Алексамен снова произнес длинную речь, говорил о новом рождении, о том, что сам Иисус проходил этот обряд... Филолог ворчал про их вечную суету и путаницу: если Иисус сын бога или даже сам божество, то людские омовения ему точно ни к чему, и выходит, что христиане просто намешали все подряд, что только нашли в культах приличных людей, и даже не постарались придать этой смеси вид правдоподобия.

Но Марк не особенно слушал своего секретаря, а ждал, когда начнут петь. И действительно, само омовение проходило под звуки еще одного их гимна, и пела снова Эйрена.

— Барахи нафши эт-адонай... — и древние, могучие слова чужого народа теряли тяжесть, рассыпались на ее языке соловьиной трелью, и летели над морем, уходили в его глубь и небесную синь, ибо нет ничего непостоянней и прекрасней девичьей песни.

— Ухоль-керави эт-шем кодшо...^[80] — но не прозвучало единственное знакомое ему слово «ахава», которое якобы сильно, как смерть, и даже еще сильнее. Слова были другие, властные и грозные — но светлые и легкие, когда их пропевала Эйрена.

А жрец, зайдя в холодное море по пояс, завел за собой молодую женщину в белом, возложил ей на голову руки и увлек под воду — а белая рубашка всплыла облаком — и еще, и еще раз в сопровождении своих каких-то слов, «во имя» чего-то там, Марк не слушал его. Он следил за пением. И женщина, счастливая и продрогшая, вышла на берег, а Луций кинулся к ней с грубым шерстяным плащом, чтобы укутать и согреть любимую. Верный служака Луций, а для своих — Симон.

— Тевда умерла! — провозгласил жрец, словно и не зябко было ему в промокшем одеянии на весеннем ветру. — Умерла для греха, умерла со Христом. И с Ним да воскреснет! Симон, прими свою жену, люби ее, как Христос — Церковь. Тевда, прими своего мужа, подчиняйся ему, как Церковь — Христу. А мы обрели новую сестру — и, с разрешения доброго господина Марка, возблагодарим за нее Господа в его доме.

Марк не пошел наблюдать вновь эту их праздничную трапезу, в которой теперь могла участвовать и новоомытая Тевда. Он гулял по берегу, размышлял, нет ли какой опасности в распространении суеверия по Острову. А Филолог ступал рядом, на полшага сзади, и без умолку говорил о том, как нелеп этот свадебный обряд. С точки зрения закона он вообще не имеет никакого смысла — римский гражданин Луций мог иметь Тевду только в сожительницах, а эти варвары, эти христиане, совершенно, похоже, не отличают конкубинат от брака и даже вряд ли знают, что и брак может быть *cum manu* или *sine manu*^[81], и разновидности порождают неодинаковые состояния и последствия...

— Да пусть их, — оборвал его Марк, — мы на Рейне и не такое видали.

И только тут он заметил, что за ними на отдалении в несколько шагов следует еще один человек — это был Дак, тут же склонившийся в поклоне.

— Чего тебе?

— Дозволь сказать, господин. — Дак говорил по-гречески довольно сносно, а вот на латыни и трех слов не мог связать. — Хочу попросить твоего разрешения тот обряд пройти.

— Какой обряд? — удивился Марк.

— Христианином стать хочу.

— Вот это да... — Марк даже присвистнул, — суеверие растет и ширится прямо на глазах.

— Суемудрие и пустословие! — отозвался Филолог. — Они всегда пожинают богатую жатву среди простых сердец!

— А что, — вдруг усмехнулся Марк, — мы перезимовали с тобой и слышали несколько историй. Но только не историю Дака. Давай послушаем теперь ее и заодно постараемся понять, чего хочет этот раб. Присядем вон на те камни.

Дак остался стоять перед господами — высокий, плотный, с кудрявыми волосами и бородой того неясного цвета, который не знаешь, назвать ли светлым или темным. И глаза у него были — Марк только сейчас заметил — под цвет моря, хоть и родился он от него далеко.

— Говори.

— Я, господин мой, — Дак явно робел, — на самом деле вовсе не дак.

— А кто же ты?

— Висеволд. Так звали меня в родном доме. Я Висеволд, и у меня брат Волдимер — мы одно целое, мы родились вместе.

— Близнецы, — уточнил Филолог, — а какого племени?

— Вы зовете нас венедами, а у наших людей много имен, их не открывают чужим. Венеды. Это дальше даков.

— Я что-то читал об этом племени, — ответил Филолог, — вы живете в стране гипербореев? На лютном севере, где снег и лед держат землю в оковах?

— Снега много зимой, — согласился Дак-Висеволд, — много солнца летом. Красиво очень. Тут ярко все, у нас тихо. Тоже красота.

— Всякому мил свой дом, — ответил Марк поощрительно, — но расскажи, как ты его утратил.

— Мы двое были одним, Висеволд и Волдимер, Волдимер и Висеволд. Наш отец не мог нас различить — только мама, и то не всегда. Когда я падал, синяк был у Волдимера. Когда Волдимер проваливался под лед, простужался я. Мы чувствовали одно и то же, мы любили одну и ту же девушку, и она никогда не знала, кто из нас говорит с ней.

Нас было двое, и мы были одним. И меч у нас был один на двоих — он дорого стоит, меч. Шла семнадцатая весна. Деревья теряют на зиму листья в наших краях, и весной лес оживает, а под белой корой наших священных деревьев течет сладкий сок. Нужно надрезать кору, набрать сока в сосуд и отнести девушке, которую ты любишь. И мы с Волдимером пошли в рощу нацедить сока и поднести его Ладе — так звали деву. Мы не знали, кого выберет она, но другой тоже будет ее избранником. И дети, чьи бы то ни были дети, будут родными для обоих. Для одного, ибо мы — один.

Через лес от нас бродили бастарны. Чужое племя, другой язык. Они пришли издалека, они не знали обычаев. Начало весны — бастарны идут войной. Мы были в

роще, нас было двое, и меч был далеко. Только два ножа. Бастарны крались незаметно. «Бежим в деревню!» — сказал я. «У них кони», — ответил мой брат, моя вторая половина. Мы не успели бы предупредить своих.

И тогда он сказал: «Ты побежишь, ты будешь жить, ты спасешь наше селение, ты дашь семя Ладе и она родит наших детей». И я все понял. Не было времени даже обняться — я побежал к селению. А мой брат остался там. Он знал этот лес, он кричал, он шумел, он бежал прочь — и бастарны бежали за ним. А потом его убили.

Я почти успел добежать до селения. Я бежал, как никогда не бегал в своей жизни. Я крикнул, меня слышали — кто был в поле, побежал к воротам, воины похватили мечи и копья. У нас селения не как здесь, мы не строим из камня — только из дерева. И каждое селение — за частоколом из бревен.

Меня слышали. А потом сердце пронзила боль, и я понял, что брат мой убит. И в моих глазах стало темно, я упал на землю, не добежав до ворот шагов триста. И больше не помнил ничего.

Я долго, трудно приходил в себя. Мне казалось, это я иду темной, далекой дорогой предков, и они выходят навстречу мне — вещие лики, древние судьбы, боги моей земли, праотцы моего народа. Тем путем шел Волдимер. А меня везли на крупе коня, связанного, с тряпкой во рту. Это были бастарны. Но больше никого из наших не было с ними — значит, мое племя отбило нападение. А меня они подобрали.

Они хотели меня убить, так они сказали мне через толмача. А потом один из них, главный вождь, сказал: «Нет, не отпускайте его к брату. Его брат был воином, он пал с оружием в руках, он пирует в зале славных побед. Этот был трус, он лежал на земле, притворившись мертвым, и нож выпал из его рук. Он — тень своего брата. Он будет наш раб». И меня оставили в живых. Я стал рабом. Тенью брата, так они меня звали.

— История, достойная Эсхила, — насмешливо ответил Филолог, — ну или хотя бы Аристофана^[82]. А как ты попал в наши края?

— Бежал. — Дак-Висеволд пожал плечами. — Бежал. Ловили, не поймали. Хотел идти на север, где свои. Но не знал местности — от дома далеко. Прятался в лесах, ел ягоды, грибы. Зверя съел, сырого — с колючками зверь, не знаю, как вы его зовете. Сил было мало. Осень уже была, холод. Болел. Вышел к людям. Видел, что не бастарны, думал, из наших племен. Нет, это были даки. Лечили, дали еду. Но снова стал рабом. Отвели к себе, в Дакию. Сильны были бастарны, а даки сильнее — у них бастарны в подчинении.

— Даки, слышал я, умелые воины, — отозвался Марк, — думаю, что и батавов оставят они далеко позади. А дальше... предполагаю, война наших с даками за Мезию привела тебя сюда?

— Ты прав, господин, — Дак соглашался, — я же сильный, крепкий раб. Я помнил, что обещал брату: выжить и оставить семя. От даков трудно бежать, от родной земли я был совсем далеко. Большая река Истр — вы зовете ее Данувий^[83], и почти так же на нашем языке. Даки пошли войной на Рим. Дакам нужны рабы:

таскать припасы, смолить лодки, рубить дрова. Меня взяли в поход.

— Так ты можешь сравнить, где лучше быть рабом: у этих бастарнов, у даков или у римлян, — с усмешкой спросил Филолог, — богатый опыт. Не так ли?

— Плохо везде, — Дак вздохнул, — но господин мой Марк добр. А рабом... Я выживаю. Я помню обещание Волдимеру. Он со мной, моя половина. Часто приходил по ночам, говорил мне. Светлый воин, с огненным мечом в руках. Он помогал. Он сказал: «Завтра ты уже не будешь их рабом». И это правда.

Когда римляне подошли, я сбросил того дака в воды реки. Утопил. И бежал к римлянам. Они не знали, кто я, я не знал их языка. Взяли в плен, сказали «дак». Продали. Дом далеко, господин, я не убегу. Не доберусь до дома свободным человеком. Но я жду девушку, которой оставлю семя. Семя Волдимера и мое.

— Так о чем ты просишь, — усмехнулся Марк, — о девке или об этом странном новом обряде?

— Хочу тоже омыться, господин. Христианином хочу стать.

— Все ясно, — рассмеялся Филолог, — парню пришлось по вкусу Эйрена. И он понимает, что только христианский обряд позволит им называться, против всякого права и обычая, мужем и женой. Если ты позволишь, конечно.

— Вещи не женятся. В том числе и рабы, — строго подвел черту Марк, — если Луцию угодно взять наложницу и называть ее словом «жена», это его право, он свободный человек. К Эйрене ты не смеешь прикоснуться.

Он взял Дака за подбородок — они были одного роста, одной силы. Пожалуй, даже Дак покрепче. И странно было видеть, как один держит другого. Странно, если не знать ничего о римском праве. О том, что раб — вещь своего господина.

— Да, господин, — Дак избегал смотреть в глаза, — но я не по той причине. И тебе, господин, если не будешь сердиться, скажу то же самое: пройди обряд!

— Я?! — у Марка чуть глаза не вылезли на лоб, — да ты еще предложи мне съездить к тебе домой и привезти невесту! Ту самую. .. как ее звали?

— Лада. Она, если жива, давно замужем, — ответил Дак, — но послушай, что скажу.

Марк отпустил его подбородок.

— Говори.

— На Острове, как они это называют, теперь община. Больше христиан. Им нужен главный. Кто будет?

— Луций, — не колеблясь, ответил Марк.

— Он не хочет. Не его дело.

— Ты сам с ним говорил?

— Да, господин. Прости.

— Плетей бы тебе за то, что посмел заговорить со свободным без моего

разрешения.

Дак молчал.

— Так что, ты хочешь быть главным?

— Ты будешь, господин.

— Зачем мне это?

Дак наконец-то посмотрел ему в глаза:

— Сильны бастарны — даки сильнее. Сильны даки — римляне сильнее. Нет сильнее Рима. Но есть в Риме слабость. Множество.

— Что?

— Множество — слабость. Смотри, господин. Один цезарь — сила. Цезарь умер, пришел другой, другого убили, третий, четвертый. Так? Слабость.

— Наш варвар разбирается в тонкостях римской политики, — усмехнулся Филолог.

— Свои боги у нас, свои у бастарнов, у даков, у римлян. Много богов. Одного чтишь — другой в обиде. Те за Марса, эти за Нептуна. Обрядов много. Путаница.

— Лучше как у иудеев? — переспросил Марк.

— Иудеи только за себя. А христиане за всех. Риму нужен один бог. Сильный бог. Придешь к дакам, к остальным, к нам придешь — принесешь им не только оружие. Не только деньги, ткани, дороги, бани. Принесешь им единого бога. А сначала объяснишь это Риму ты. Ты будешь править Римом, Рим — миром. Наши имена вещие, господин мой Марк. Нас так называли, Волдимер и Висеволд — это на нашем языке «тот, кто владеет мерой, владеет всем». Мы же одно. Мы ничем не владеем, но мы отмерим тебе, как завладеть всем. Только дай Риму одного бога.

— И зачем это Риму?

— Только силой нельзя подчинять. На силу найдется другая сила. Знаешь, какая уже сила у них? Видел одного, Симоном звали. Он волшебство творил, такие чары наводил — больных исцелял, тайны возвещал, предсказывал. Я еще когда его увидел, понял, какая великая сила у них, христиан.

Не знал я, что есть сильнее даков, пока не пришли римляне. Не знаю, что есть сильнее римлян, — а вдруг придут однажды?

Что им скажешь? Скажешь: есть такая сила, которая по всей земле одна. Есть такой царь, который не умирает. Есть такой закон, который дан с неба. И будешь его именем править. Всеми, вечно.

— А послушают ли они? — усмехнулся Филолог.

— Приди с легионами — послушают. Только легионы не навсегда. Нужно дать побежденным, во что верить. На что надеяться.

— И кого любить? — попробовал уточнить Марк.

— Сами любят, — ответил тот уверенно, — порядок любят. Надежность. Уверенность. Любят тебя. Пройди обряд, мой господин.

— Вот это да-а-а, — Марк только руками развел, — я не знал, что в таком варварской голове скрываются такие необычные мысли. Иди, Дак. Иди, я подумаю. И помни: говорить со свободными римлянами в мое отсутствие ты можешь только по моему поручению или дозволению. И в следующий раз тебе это объяснит плеть.

— Да, господин.

Раб развернулся, пошел скорым, и даже со спины было видно, радостным шагом. Он выговорился. Он еще не знал, убедил ли он Марка, но он хотя бы попытался.

— А все же думаю, дело в девчонке, — улыбнулся Филолог, — ведь она и вправду хороша.

— Девчонка, кстати, сказала, что кольцо украл ты, — ответил Марк.

— Глупа, как месячный козленок. Но и мила настолько же.

Ни одна черта не дрогнула в лице Филолога — Марк смотрел внимательно. Ни тени смущения, ни малейшей попытки оправдаться. Нет, видимо, это все же не он. А и как было проверить иначе?

— А кто, как ты думаешь, мог?

— Боги всеблагие, откуда же мне знать? Кто-то из местных, Марк. Сначала по дурости украл. Потом, когда ты раструбил по всему Острову про страшные казни для похитителя, на всякий случай зашвырнул его в море. Молись Посейдону и морским нимфам, может быть, они проделают для тебя тот же фокус, что когда-то для Поликрата^[84].

— Не сильно ему это помогло, Поликрату, — усмехнулся Марк, — а что думаешь насчет просьбы Дака, который не дак?

— Знаешь, мы ведь по-прежнему нуждаемся в развлечениях, не так ли? Устрой между нами диспут. У тебя есть прекрасная возможность: пусть этот Алексамен попытается убедить тебя, что Даку надо пройти их посвящение. Твою особу пока не будем трогать. Я ж попытаюсь убедить тебя в обратном — в тщете всех этих потуг. А поскольку в твоём доме есть еще и иудейский книжник, пусть он попробует... ну, не знаю, обратить его в свою веру, или, вернее, кичливое суеверие, — если захочет. А нет, так пусть тоже расскажет что-нибудь интересное.

— Отличная мысль, — согласился Марк. — И еще... Видишь, все они упоминают какого-то Симона, одно и то же имя, как и новое прозвание нашего Луция. Забавно было бы узнать, один и тот же это человек или нет?

— Варвары вообще забавны, особенно когда пытаются рассуждать, — отозвался Филолог.

— Да уж. Эти северные варвары никогда не выйдут из своего невежества, им ни за что не суждено стать другими.

Охранители

Именно сюда спустя ровно тысячу семьсот тридцать пять лет унтер Митрофан приведет пленного вольтижера Марка. Марк совсем молод, кивер потерян, черные волосы спутаны, взгляд опущен. Его левая рука наспех, небрежно перевязана каким-то платком прямо поверх мундира, и рана понемногу сочится кровью. Ему страшно — и еще страшнее показать этот страх. Его ведут куда-то — видимо, расстреливать? Чего еще можно ждать от этих северных варваров? Сможет ли он прежде залпа достойно выкрикнуть: «Vive la France! Vive l'Empereur!»^[85] — и чтобы голос не дрогнул?

Митрофан Акиндинов — ему уже под сорок, русые волосы точно так же спутаны, в усах и на висках седина — посасывает пустую трубочку (табачок вчера еще закончился). Его форма в полном порядке, только ткань выношена, выгорела на солнце и сапоги все в белых разводах морской соли. На щеках — двухдневная щетина. Он как бы нехотя вынимает трубку изо рта и, поправив мушкет на плече (а второй у него в левой руке), деликатно зовет:

— Вашбродь, дозвольте? Вашбродь?

Из-за пригорка спустя полминуты появляется прапорщик Евгений Костомарский. Ему двадцать лет, он белокур, гладко выбрит, голова непокрыта, мундир слегка примят, к спине прилипло несколько соринки — видимо, прилег отдохнуть. Во рту — весенняя сочная травинка, взгляд веселый.

— Еще один пленный?

— Так точно. Мы на тую сторону патрулем ходили, а он от нас. Отстреливался поначалу. Подранили — мушкет бросил, руки задрал.

— Местность прочесали? Больше нет их?

— Прочесали, вашбродь. Да он из этих, давешних. Убежал чой-то.

— Спасибо, Митрофан. Благодарю за службу.

— Радстаться, вашбродь. — Митрофану приятна похвала, хоть и привычная.

— Чарка водки с меня.

Митрофан только усмехается в усы. Он разве ж ради водки?

Прапорщик одергивает мундир, выплевывает травинку и обращается к пленному, тщательно следя за своим произношением:

— Presentez-vous, monsieur. Мсье, представьтесь.

— Вольтижер Марк Радо, мсье лейтенант.

Прапорщику приятно побыть лейтенантом, он не поправляет пленного. Вообще-то лейтенанты по-нашему — это поручики и подпоручики (какие-то варварские, почти казачьи слова!). Но это у него все впереди.

— Вы отбились от своих?

— Я не хотел сдаваться вместе с остальными. Это позор — сдаваться без боя.

— Ваш сержант поступил очень разумно, не приняв боя с десантной ротой. У вас не было шансов.

Прапорщик немного хитрит: на Остров высадилась только полурота при поддержке фрегата. Пусть он считает, что их больше — на случай, если там остались другие французы.

— Я так не считаю, мсье лейтенант.

Голос пленного окреп — он понял, что его не будут расстреливать.

— Итак, вы ранены мушкетной пулей?

— Благодарю за заботу, мсье, это царапина.

Кровь все сочится, она уже намочила полу мундира — похоже, мальчишка преуменьшает боль. Или не заметил от волнения, так бывает. Но рана может нагноиться, надо принять меры.

— О вас позаботятся, вы храбрый солдат. Итак, вы последний из аванпоста? Больше на Острове ваших нет?

Марк колеблется. Он не знает, стоит ли выдавать вражескому офицеру военную тайну. Будут ли пытаться, если он ничего не скажет? Сможет ли он выдержать пытку? А с другой стороны, офицер галантен и предупредителен и так хорошо говорит по-французски, словно сам из Парижа. У самого Марка никуда не исчезнет провансальский акцент. Нет, было бы невежливо отказывать лейтенанту в искреннем ответе, тем более он ничего не изменит.

— Мсье, я последний.

— Митрофан, — командует прапорщик, — отведи к Семенычу, пусть ему как следует руку перевяжет, кровь остановит. Может, и лубок надо наложить: кость, поди, задета. Хорошо, пулю вытаскивать не надо: насквозь прошла. Тоже вот герой, не хотел без раны сдаваться... И проследи, чтобы накормили. И в сарай его к прочим. Завтра на материк отправим.

Митрофан подзывает молодого белобрысого солдата, стоящего поодаль, передает тому мушкет, пленного и приказания. Добавляет:

— Не робей, Митяй, вишь, сдаются они нам. На Рагузу тую, говорят, скоро пойдем. Ничо, взять можно. Да, вашбродь?

— Прикажут — пойдем, — лениво отвечает прапорщик.

Пленного уводят. Прапорщик уже было собирается продолжить послеобеденный отдых на теплом весеннем солнышке, но унтер все не уходит, словно хочет что-то еще ему сказать.

— Митрофан?

— Дозволь, вашбродь, спросить... — Вне строя этот старый солдат называет офицера на «ты», хоть и с титулом: он ведь, считай, в сыновья ему годится, по крестьянству рано женятся.

— Говори.

— Стены, говорят, больно тут древние?

— Древние. От римлян остались.

— А тут и римляны жили? А куды делись?

— Как тебе сказать... — Костомарский окончил гимназический курс, и если бы не позвали военные трубы — скоро бы уже и университетский. А пока что в университет собирался младший брат Миша, к тайной радости отца: пусть хоть один наследник избежит превратностей войны. Но как объяснить этому мужику все то, что сам он вычитал и выслушал, что окружало его с самых ранних лет? Как сказать по-простому?

— Меняются времена, и мы меняемся в них же. Вот была Римская империя, теперь на ее месте разные страны. Может быть, настанут дни, и нашей не обретется.

— Этого, вашбродь, мы не допустим, — серьезно ответил унтер, — на то и присягу царю давали.

— А ты, Митрофан, откуда будешь? Деревня твоя где? — Костомарскому надо поддержать беседу, а о чем еще спрашивать мужика?

— Давно там не был, — качает головой унтер, — забыл уж, как выглядит. Сначала снилась все... Теперь уж нет. Да и тут покрасивше-то будет. Хоша и у нас по весне неоглядно... Старицкого мы уезда, барин. С Волги.

— Я думал, на Волге все окают, — удивляется «барин».

— Не, это пониже. А мы тверские. А твоя, барин, поместья где?

— Моя... — Костомарский задумывается, — я в Москве вырос. А поместье в Орловской, но я там тоже давно как-то не был. Мой дом — в Первопрестольной.

Да и что в поместье видел, когда бывал? Барский старинный дом с нелепыми провинциальными интерьерами? Лужайку в три аршина перед ним? Речку-переплюйку с мостками, всю в следах копыт и коровьих лепешках по обоим берегам? То ли дело Воробьевы горы или Красный пруд на Москве...

— А вот еще дозволю спросить, вашбродь.

— Давай уж. — Костомарский чувствует, что солдат не отстанет, отдыха не получится, но прогнать его неловко — пленного взял, да еще и в бою. Имеет право на внимание командира. И в самом деле, не только за водку же наградную они воюют?

— За что мы вот француза тут бьем, вашбродь?

— Как за что?

— Ну вот смотри, вашбродь. Вот был римский анпиратор, и, поди ж, не один? Теперь наш есть анпиратор, австрийский вот еще. Говорят, и Бонапартий короновался, тоже анпиратор теперь. Не врут?

— Не врут, — соглашается прапорщик, не понимая, к чему клонит солдат.

— А раз так — чо б не сесть им да не поладить? Все ж христьяне? Бивали мы турку под Рымником, еще молод я был, так это понятно: вера у него поганская, бунтует он на нашего Помазанника Божьего, христьянам всем враг. Скоро, черногорцы сказывали, опять бить его будем, турку-то, так ему и положено.

— С чего это?

— Ну как? Пророчество было, черногорцы сказывали. Под Киселевым когда еще стояли.

— Кастельново^[86], — поправляет прапорщик.

— Ну вот я и говорю. У них ракия^[87] больно забориста, у черногорцев-то, и с виду диковаты, прям как турка, а нет, ничо, православные и говорят прям по-нашему, а в бою — звери. Пророчество сказамши: воевать матушке-Руси с туркой нечестивым до скончания века каждые десять не то двадцать лет, и вот срок опять подходит. А там, на севере, сербы православные, черногорцам братья, турку уже бьют, их поганый салтан крепко держит, а они, поднявшись, ничо, войско салтаново разогнали. Ну как он новое соберет? Мы ж сербов не бросим, вашбродь, они ж крещеные, как мы?

— Как прикажут, — усмехается прапорщик. Ишь ты, мужик мужиком, а в балканской политике разбирается.

— Так и что же тогда анпираторы не замирятся? Все ж теперь христьяне? Раньше-то, говорят, Бонапартий был афей.

— Кто-то?

— Афей, а по-нашему безбожник. А теперь ничо, покаямшись как положено, принял веру свою латынскую, попы ихние его покрестили да и короновали. Вот, монастырь латынский тут на Острове разогнамши, сказывали — так, чай, обратно теперь попов вернет?

— Попов — это вряд ли вернет. Крепко французы за них взялись. Больно много денег у них припрятано.

— Ну и у наших бывает, — соглашается Митрофан, — так не гнать же их теперича. Да и тут... Она хоть и латынская вера, а вроде нашей, вот как у этих далматцев-то. Исакий Далмацкий, знашь, покровитель небесный царя Петра — из этих, знамо, мест. В Питере, говорят, храм ему стоит. Так и тут христьяне.

— Стоит, — усмехается Костомарский. На память приходит нелепая постройка в центре столицы: мраморное основание и кирпичные стены поверх. Память двух царствований, шутили петербургские обыватели: блистательное Екатерининское и казарменное Павлово. Каким-то отзовется нынешнее?

— Токмо они тут Исаакия-то не больно чтут. Даже не слышамши про него. На острове этом, бабка говорила тутошняя — своя святая была. Мирой зовут, а по-церковному Ириной. Чтут ее крепко. Мощей только нет, потопши она, кажут.

Прапорщик усмехается. Много ли разницы, какому святому молиться? Да и много ли мощи помогают на войне? Но Митрофан — мужик обстоятельный, что в

бою, что в молитве. Раз на Острове — должен узнать, кто тут святой.

А солдат продолжает, интересно ему с господином офицером словом перекинуться.

— Так вот ты объясни темноте моей, вашбродь: за что теперь воюем? Австрияки то нам союзники, а то их гоним из Киселева, теперь вот Бонапартия из Рагузы собираюсь — а все ж мы христьяне? Нет бы скопом, вот и парнишку энтото, что я подранил, да черногорцев, да далматцев взявши — и айда турку бить?

— Это, братец, политика, — говорит Костомарский и сразу же сомневается, можно ли называть «братцем» мужика почти вдвое старше его самого. Но не «дядей» же его звать! — Императоры делят земли. Чья будет тут территория: наша, австрийская или французская?

— Лишь бы не туркина, — согласно кивает Митрофан, — ну это как у нас. У нашего, вишь, барина спор с соседским из-за дальних лужков вышедши. На лужках тех укусы медовые. Каженный говорит: мое. Наши мужики демахинских на лужках споймавши бьют, ихние нашенских — обратно. А баре судятся в губернии. А мужиков оба сторожить лужки посылают да нерадивых секут: не уберегли от покоса. Так и тут: может, еще договорятся?

— Может, — смеется Костомарский, — а чем суд-то у них кончился?

— Так в рекруты забримшись, — смеется Митрофан в ответ, — что теперь лужки? Всю Далмацию царю-батюшке добываю, от афеев стерегу, красу такую!

Пока они болтают, проходит с полчаса, и неожиданно возвращается белобрысый Митяй с пленным. Говорит, тот лейтенанта звал, что-то, видно, важное сообщить имеет. Теперь у парня мундир висит на одном плече, рука надежно перевязана, кровь на повязке подсыхает. Лицо румяное и даже как будто веселое: не верится, но Семеныч, кажется, и ему налил чарку. Пожалел по молодости?

— Мсье лейтенант, дозвоьте...

— Слушаю. Вы хотите сообщить нечто важное?

— Я хотел поблагодарить вас за спасение моей жизни.

Прапорщик смеется. Это уже грубая лесть! Или... он просто пьян?

— Марк... сколько вам лет?

— Во... семнадцать, мсье.

— Восемнадцать?

— Скоро будет, мсье, — он сыто икает, — я солгал при призыве.

Костомарскому всего на три года больше, но этот мальчик кажется ему чуть ли не сыном. Вернее нет, братом. Младшим братишкой Мишкой, который корпит сейчас над книгами, готовясь к вступительным испытаниям в университет.

— Первый ваш бой?

— Второй, мсье. Первый был, когда мы тут высадились. Нас обстреляли. Я

могу идти?

— Подождите... Мы вот тут говорили с... капралом.

— Он прекрасный человек, передайте ему мою благодарность. А я отдал свой табак, я не курю — нам выдали на континенте.

— Скажите, зачем вы воюете, Марк? Вы же сами рвались в армию?

— За Францию, мсье лейтенант. За прекрасную нашу Францию. За нашего императора, который дал нам величие и свободу — Европе.

— Свободу?!

— Свободу, равенство, братство, — серьезно кивает подраненный мальчишка, — если это не очень обидит мсье лейтенанта, которому я обязан жизнью, я...

— Говорите.

— При всем моем личном уважении, мсье, вы отстаиваете старый порядок. Это рабство, невежество, грязь, суеверия. Мы несем Европе просвещение. Она станет свободной, хотите вы того или нет. И мне не жаль отдать за это жизнь.

— Вы видели, Марк, как встречают вас местные рыбаки и крестьяне? Спешат ли они встать под ваши знамена и расстаться с суевериями? Не они ли обстреляли вас при высадке?

— Я мало пока видел тут, мсье. Только природа очень красива, почти как дома в Воклюзе. И знаете, у нас тоже много отсталых крестьян, которые не спешат сбросить с шеи жадных кюре и даже втайне мечтают о возвращении короля! Но мы, я уверен, сможем убедить их в неотступности прогресса. И знаете... семейное предание гласит, что мой дальний предок был из этих мест. Путешествовал по Средиземноморью, жил у Петрарки. Оставил в Воклюзе потомство. Я пришел вернуть долг этой стране — дать ей свободу, равенство, братство.

Костомарский осторожно, чтобы не задеть раненой руки, приобнимает Марка как братишку. Его прабабка — тоже из этих краев, дочь далматинского капитана на службе Петра Великого. И даже фамилия похожа — Радомирович.

Он не хочет сейчас спорить о том, что вместо старого короля они посадили себе на шею узурпатора Бонапарта — какая, в сущности, разница? И как-то неловко вести политическую дискуссию, когда твой противник — твой пленник, и вдобавок ранен. Храбрый, верный, честный мальчик! Как он его понимает! Как хотел бы командовать такими, как он, а не этими темными тверскими да тамбовскими мужиками, в меру хитрыми и без меры покорными. Но судьба, «взявши да бросимши» его сюда, распорядилась иначе.

— А мой капрал предлагает нам всем как добрым христианам объединиться и идти войной на мусульман, — улыбается он.

— С вашего позволения, мсье, я атеист. Я верю только в разум человека.

Костомарский на секунду задумывается. Сколько прочитано книг... Сколько выстояно в детстве служб, вроде бы и с темными и покорными мужиками, а все же отдельно от них. Невнятных служб на древнем языке, лишенном и латинской

логики, и французского изящества. Сколько перецеловано в том же детстве жирных и волосатых священнических (мужицких!) рук. А вот как оно может быть просто и легко!

Они говорят по-французски, на языке, которого не поймет ни Митрофан, ни кто другой в плутонге^[88] Костомарского или в его поместье. Он отвечает серьезно, как бы неожиданно для себя самого:

— Вы знаете, я тоже. Ступайте, Марк.

А капрал, он же унтер, он же мужик Митрофан поодаль с охотой раскуривает трубочку, вот ведь подарок ему прилунился на Светлую седмицу. Землица эта, сколь он ее ни хаживал, пахнет всюду ветром да травами, солью да солнцем, но и табачок-горлодер не помешает. Весна приходит в эти края рано — только Пасху отпели, а тут уж все цветет да птахи косяками летают. Дожди и те нонче легкие и теплые, играют себе, что девки на сочном лугу. Ясно солнышко ввечеру не торопится за край синих и ласковых гор, а море, хоть и студено да ласково — нам ли, старицким, бояться водяной прохлады в погожий день! И если есть на Земле край прекрасней далмацкого — на службе царю-батюшке и его, приведи Господь, добудем.

Спор. История Симона

Для спора о вере был выбран светлый весенний вечер — солнце теперь садилось поздно, оставляя много времени на досуг после того, как переделан дневной труд и можно задуматься о большем, чем хлеб и вино, чем мотыга и мельница, — если остались силы, если остался к тому вкус. Или просто развлечься, слушая умные речи, ведь на Острове мало развлечений.

На площадке перед домом Аквилиев собралось опять полдеревни. Небо слегка подернулось облаками, и порой накрапывал дождь — он больше освежал, чем мешал. И Марк подумал, что небо посылает им свой сигнал: кто бы ни обитал там, в выси, боги римлян или венедов, иудейское строгое божество или этот неведомый Иисус, или все они вместе — ничего не меняется от этого для людей. Что пошлет нам небо: дождь ли, снег ли, солнечный свет — не зависит от того, какими словами мы его называем.

Но надо было исполнить обещанное и дать Алексамену привести свои доводы: почему надо позволить Даку принять эту новую веру, — а Филологу дать высказать все возражения. Марк устроился на сиденье, стоявшем на холмике, сделал знак рукой, чтобы смолк тихий гул толпы.

— Мой раб по прозвищу Дак попросил моего дозволения пройти обряд посвящения в христиане. Я еще не принял решения и хочу выслушать на этот счет Алексамена, Филолога, а затем моего раба из числа иудеев и, возможно, самого Дака прежде, чем что-то решу. Алексамен, говори.

Алексамен подошел поближе, откинул руку в риторическом жесте и начал свою речь:

— Я полагаю, досточтимый Марк Аквиллий по прозванию Корвин, что нет нужды пересказывать тебе основы нашего вероучения и не хочу утомлять тебя повторением подробностей, которые ты уже знаешь. Скажу о главном.

Добродетельному и мудрому мужу подобает всегда стремиться к истине — думаю, никто не оспорит этого утверждения (Филолог на этом месте выразительно хмыкнул). Достаточно будет доказать, что наша вера — истинна. Так может, разумеется, говорить о своем учении каждый, но есть доказательства, которые не приведет тебе никто, кроме христиан.

Посмотри, с чего началась наша община. Тридцать с небольшим лет назад там, в далекой и ныне разоренной Палестине был распят на кресте один-единственный Человек, притом от Него отказались немногочисленные ученики, а вожди собственного народа осудили Его на смерть. Около стен Иерусалима Он был предан мучительной и позорной казни, на какую осуждают разбойников. Бесчисленные тысячи крестов были до него, были и после и будут, наверное, еще. От какого креста кроме этого пошло новое начало?

И посмотри, что ты видишь теперь. Камня на камне не осталось от Иерусалима, как и предсказывал Он, а Его учение, которое по всем человеческим расчетам должно было быть предано забвению на следующее же утро, распространяется по

кругу земель, привлекает все больше сторонников, и ныне в самом Риме ты увидишь множество христиан, даже среди самых знатных родов. Бывало ли такое прежде? Есть ли тому иное объяснение, кроме такого: Он воистину был Сыном Божиим, умершим ради спасения каждого из людей? И что было болью и позором, стало победой, что было смертью — стало дверью в бессмертие.

Иисус учил о Царствии Небесном, оно есть уже здесь и сейчас, оно не враждебно ни одному из начал и господств этого мира, и меньше всего — блистательному Риму, и оно открыто для каждого. Потому я желал бы, чтоб каждый из здесь стоящих и вообще каждый из людей стал христианином — и ты, Марк, первым. Но не о том меня ты спрашивал, и потому замолчу об этом.

Я понимаю и твои опасения: если рабы в твоём доме будут поклоняться иным богам, чем ты сам, будут ли они верны тебе? Можно было бы много привести доводов, но я назову один. Посмотри на сестру нашу Эйрену — верно ли служит она тебе? Вот истинное христианское отношение к ближнему, исполненное веры, надежды и любви. И чем больше христиан будет в твоём доме, тем больше будет в нём мира и порядка.

Итак, если ты согласишься, мы преподадим твоему рабу основы нашего вероучения и через некоторое время по должном испытании проведем, если будет на то воля Божья, через обряд крещения, дабы начать ему новую жизнь в Господе. Я завершил свою речь.

Марк молча кивнул и указал рукой на Филолога. Тот, забавно семеня, занял место Алексамена, вызывая в толпе сдержанные смешки — кажется, самой своей повадкой он постарался принизить торжественность момента. И начал свою речь:

— Цветистой и яркой была речь Алексамена, и я не уверен, что смогу сравниться с ним в красноречии, не в моем обычае много говорить — больше склонен я к размышлению. Так что не жди от меня слишком многого, Марк. Я лишь отвечу.

Алексамен говорит: его учение истинно потому, что распространяется повсеместно. Только шире всего разошлась по кругу земель человеческая глупость, а ведь никто не обращается к ней как к новой вере. Хотя... — И он выразительно взглянул на Алексамена.

Алексамен говорит: его учение открывает двери в вечность. Но пока что никто не вернулся оттуда, чтобы нам это подтвердить. Говорят, это сделал Иисус, но проверить этого мы не можем. Если я, Марк, одолжу у тебя тысячу динариев с тем, чтобы отдать деньги в царстве теней, когда мы оба туда сойдем, ты, пожалуй, поостережешься. А ведь у тебя теперь требуют целого раба.

Почему я говорю «требуют»? Потому что христиане нетерпеливы и ревнивы, они хотят все сразу и сейчас. Много есть на свете богов, свои у каждого народа, но ревнует ли Юпитер, когда приносят жертву Осирису или Митре? Разве что иудеи рассказывают такое о своем боге, но они не просят у тебя твоих рабов.

Ты скажешь, что же в том дурного? Истина или нет — это всего лишь мнение, а возлияния и воскурения перед твоими фамильными ларами или в честь гения

императора — всего этого никак не отменишь. Ты хочешь, чтобы рабы в твоём доме были верны кому-то больше, чем тебе? И страшно сказать, больше, чем Риму? Пусть христиане убеждают тебя, что не имеют ничего против. Но это сейчас. Они ведь требуют человека целиком.

И что, может быть, ещё страшнее — они считают вещь человеком. И если ты вдруг разделишь их суеверие, тебе придется выбирать, кем или чем для тебя теперь будет Дак — твоей собственностью или их братом по вере. А то и твоим братом, Марк, ты же слышал, куда они метят.

Но задам один вопрос и Даку, или, как он себя называл, Пантократору. Да-да, Марк, именно так переводится его первоначальное варварское имя на наш язык — Пантократор, «тот, кто владеет всем». Итак, скажи мне, Дак, желающий всем владеть: а что же будет с твоим братом-близнецом, он ведь умер, веря в прежних твоих богов? Ведь христиане все уши нам прожужжали, что кто не примет их веры, тот погибнет навеки. И твой брат, стало быть, тоже. Вы будете после смерти разделены — ты этого хотел?

Дак выступает вперед на шаг и отвечает не колеблясь:

— Нет. Мы — одно целое. Я крещусь за себя и за брата! И после смерти будем вместе: Висеволд и Волдимер.

— Вы видите, — с иронической улыбкой продолжал Филолог, — сколь нелепы эти убеждения. Но это повод не для смеха — для опасений. Если наш дак, или венед, или попросту твой, Марк, раб готов переписать историю собственного брата — не перепишет ли он затем историю Рима? Рим не открыл свои ворота перед Ганнибалом или любым другим захватчиком, но теперь они проникнут не за римские стены — в римские головы. И скажут, что Рим теперь их, что вся предшествующая слава и сила Рима — лишь предисловие к их жалкому суеверию, чтобы быстрее и удобнее было ему распространиться по кругу земель. И зачем, Марк, тебе способствовать тому?

А впрочем, все это суета. Кто хочет исполнять свои обряды, пусть исполняет, если только не совершит ничего противного законам и обычаям. Не думаю, что богам есть дело до того, как совершать омовения или трапезы — думаю, они в своей благодати и мудрости предоставили этот выбор нам. Но поверь мне, как только ты дашь силу и власть этим людям, говорящим якобы от имени Единого Бога, они залезут и к тебе в рот, и к тебе в постель и скажут: богу угодно, чтобы ты ел то, а не это, спал с той, а не с этой — как сейчас ему угодно, чтобы ты молился не ларам, а ему. Все только впереди.

Останови суету, Марк, ты же разумный человек. Предоставь каждому выстраивать отношения с миром блаженных так, как он сочтет нужным, но свою вещь оставь при себе. Таков мой совет.

— Хорошо, — ответил Марк с таким же бесстрастным выражением лица и пригласил третьего оратора. — Черенок, звавший себя прежде Лазарем, и ты скажи, что можешь.

Рабу выходить на место оратора, пусть даже и условное, созданное только что

фантазией его господина, никак не подобало, и потому он стал отвечать с места, из гущи толпы, и голос его поначалу казался слабым, так что приходилось напрягать слух, а потом окреп и стал звучен. Видно, он прежде привык говорить перед народом и теперь не сразу поверил, что ему вновь дано такое право.

— Не знаю, добрый господин мой Марк, каким советом может помочь бедный иудей, который к тому же считается твоей вещью, да будет Всевышний милостив к тебе и твоему дому. Примет ли Дак это учение, не примет ли — стены Иерусалима останутся лежать в развалинах, мой народ будет рассеян по лику земли, а я буду твоим рабом. К чему мне влезать в чужие распри?

Но если ты повелел мне высказаться, я скажу, что думаю про... про другие народы, принявшие одного нашего учителя из Назарета за кого-то особенного. Всевышний, сотворив мир, только народу Израиля дал тяжелое иго заповедей и обещал награду за его терпеливое несение — ты можешь убедиться сам, как карает Он за их нарушение. Да, это Его гнев нас постиг, когда римляне разрушили стены.

А прочим народам он заповедал совсем немного через праотца Ноя. Довольно будет от Дака и от каждого в этом доме, кроме Суламифи и недостойного меня, соблюдать эти простые правила: быть справедливым, не совершать убийств, не воровать и не нарушать чужих супружеских прав. Все это и так соблюдают люди твоего дома, а если нет, Марк, ты сурово покароешь отступника.

Но да будет мне дозволено сказать о самой главной заповеди для всех потомков Ноя, к числу которых относится каждый человек. Эта заповедь — почитать Единого и никого не приравнять к Нему. Некогда, как я понял из рассказа Алексамена, и он проникся этой заповедью, как и многие другие из числа неиудеев, но, к сожалению, отвергнув почитание варварских божеств, он приравнял к Единому бродячего учителя и проповедника из Назарета.

Лучше ли нарушать эту заповедь со многими божествами или с одним-единственным человеком? Не знаю, господин, как рассудит Всевышний. Но для меня разности особой нет.

А вот опасение есть. Что за дело дакам или этим венедам до сынов Израиля? Не знают они их и не скоро узнают, да и, узнав, пожалуй, не станут нас беспокоить. Что этим северным варварам наши книги, наш Закон, наши заповеди? Нет им до нас дела.

Но последователям того Назарянина — есть. Они говорят, что это они стали Израилем, что все благословения Авраама перешли на них. Казалось бы, чего проще — прими Авраамову веру, стань иудеем, и все это будет твое. Нет, они хотят благословения похитить. А как похитить чужое добро, не связав прежде хозяина? Да, пожалуй, и убив его?

И чем больше варваров принимают поклонение назарян, тем ближе день, когда они скажут моему народу: не должно вам быть, теперь Израиль — это только мы. И я страшусь этого дня. Знаю, господин мой Марк, что тебе это ни к печали и ни к радости, но просто подумай и рассуди: есть на земле такой народ, от которого не было вреда Риму, который сам позвал римлян на свои земли и долгое время им служил и помогал, пока не смутили его рассудок негодные люди.

Лучше бы оставить этот народ в покое, ибо Всевышний карает своих избранных, но не истребляет до конца. Владели этим народом египтяне и ассирийцы, вавилоняне и персы, владели греки и македоняне, и вся слава их прошла, а народ мой жив. Теперь владеют римляне, да продлит Всевышний срок их царствия — так пусть народ Израиля будет защитой Риму от Всевышнего!

— После разрушения Иерусалима — вот прямо обязательно! — рассмеялся в голос Филолог, а за ним и многие иные.

— Что же, — довольным голосом сказал Марк, спор явно удался, — выслушаем и самого Дака. Но чтобы не утомлять присутствующих многословием, задам тебе, Дак, именовавшийся Волде... каким-то другим именем у себя в доме, только один вопрос. Чего ищешь ты — мне не важно. Я спрошу тебя, чего ждать мне от твоего обращения в христианскую веру. Назови одно, но главное преимущество для меня.

— Да, господин, — смущенный раб вышел немного вперед, он явно не привык говорить перед народом, — скажу. Сила, великая сила. Разве ты не хочешь, чтобы твой раб обладал силой? Я видел ее у Симона.

— Расскажи.

— Симон, он был пресвитером христиан в Филиппах Македонских. Я видел, к нему приносили больных, он читал молитву, и они уходили здоровыми. Говорят, он поднимался во время молитвы в воздух, но сам я такого не видел. А как шел из его дома на своих ногах тот, кто вчера был на костылях, — видел. Он творил чудеса, он собирал вокруг себя толпы.

— Ты хочешь тоже творить чудеса?

Дак наклонил голову. Кто его знает, понравится ли хозяину раб-чудотворец? Да и выйдет ли у него это?

Но Марк заметил другое — оживление при имени Симона. И в самом деле, это имя упоминали при нем и прежде...

— Дозволь рассказать. — Алексамен вышел на прежнее место. — Я рад, что Дак... что Висеволд знает Симона, ведь он — мой учитель, как я и рассказывал прежде. И конечно же, он возносился на небеса во время молитвы, но только не телесно, а духом, я много раз молился вместе с ним и со всей общиной. Но дело не в нем. Дело в общине. Много может усердная молитва людей, собравшихся в Господе, как мы называем это. И может быть, исцеление хромого — не самый яркий тому пример.

Я видел, как вернулся к своей прежней жене мужчина, встретивший было молодую деву. Я видел, как приняли на воспитание чужого сироту совсем небогатые супруги, у которых было трое своих, и совсем не для того, чтобы вырастить и продать его в рабство. Я видел, как простые люди делились последним с теми, кого не встречали прежде, только потому, что это были братья и сестры в Господе. Вот что я назвал бы чудом.

А Симон, мой учитель, — он просто кормчий корабля, который направляет его бег. Сам по себе кормчий не достигнет берега, нужны и гребцы, и другие моряки. Но

и без кормчего корабль налетит на скалы. Таков наш любимый Симон.

Впрочем, он бы не одобрил нашего разговора, он всегда стремился быть незаметным, его голос в собрании звучал тише всех, и потому мы мало о нем знаем. Но даже и великий Павел, принесший первым весть о Христе на наши берега, думаю, уступает ему. Павел остановился в Филиппах совсем ненадолго и отправился дальше, а Симон — он остался выращивать то, что Павел насадил. Отправлялся дальше и выше, нес проповедь веры, созидал новое человечество. И тому же Павлу собирал потом средства, так что тот обращался к филиппийской общине в любой момент, как были нужны ему деньги.

— Удобно. — Филолог снова скривил сатинову рожицу. — И ты, Луций, встречал, кажется, того же Симона? Но ты говорил, в Палестине?

— Как он выглядел? — спросил Луций.

— Невысокий, нынче ему, верно, лет шестьдесят или чуть больше, — ответил Алексамен, — без особых примет. Волосы у него были вьющиеся, теперь, наверное, поседели. Нос прямой. А, вспомнил: палец на левой руке у него поврежден.

— На правой, мизинец, — отозвался Луций, — все так, но только на правой. Плохо сросся после перелома.

— Или на правой, — кивнул Алексамен, — он же отправился в Палестину, чтобы поддержать наших, когда началась... началась вся эта смута. В Филиппах были собраны средства, он отправился передать их христианам Палестины, а потом, видимо, остался там утешить и ободрить их.

— Да, — сказал Луций, — все так и было. Только он не проповедовал ничего. И никакого единого, как ты говорил, человечества. Ну, меня они подобрали, я же раненым лежал. А так он говорил — я слышал, пока выздоравливал, я по-гречески хорошо понимаю, — что собирались там местные христиане. Он им и рассказывал, ну вроде как Черенок этот говорил — отделитесь, мол, от иудеев, суд над их домом, а мы отдельно. Я не могу всего пересказать, я слаб тогда был и знал мало, но общий смысл именно таков. Он и приехал-то, похоже, для того, чтобы объяснить им: не ждите там восстановления стен Иерусалима, скорого пришествия и прочее. Камня на камне, говорил, не оставит Господь. А у нас своя история.

Марк не мог не расслышать шумного вздоха Черенка и не заметить поодаль горящих глаз Эйрены, но рабы молчали, пока господин не прикажет им говорить.

— Эйрена, ты видела его тоже? И ты, Черенок?

— Я видела, — горячо отозвалась она, — он один из самых лучших людей, каких я встречала. Но он не говорил ничего ни о человечестве, ни об Иерусалиме. Он больше про душу человека. Про то, как страдание очищает душу и приближает к Творцу. О том, что в мире слишком много насилия и боли и мы все время делаем выбор, по какую сторону креста встать. Распятый или быть распятым. Я тогда не понимала, а потом... потом, когда пришло рабство, разлука с мамой, — я поняла. Он очень тогда мне помог, хотя его уже не было рядом.

Черенок подхватил речь с ее уст, как подхватывают на лету упавший сосуд:

— Ты хочешь, господин, послушать историю брата моего Шимона? Ибо, судя по описанию, это он. И мизинец на левой — да, на левой руке — он повредил, когда снимал меня с дерева.

— Говори, — в голосе Марка не было ни тени удивления, — мне казалось, вы совсем не заодно...

— Мне было пять лет, а ему... ему семнадцать. Я на что-то очень обиделся и залез на раскидистую смоковницу, что росла у нас во дворе. А слезть боялся. И кто полез за самым младшим в семье? Самый старший его брат, конечно. Только ветка, на которую я залез, была слишком тонка для нас двоих. Он упал с дерева и сломал палец, так неудачно... И не дал его притом вправить, он всегда был упрямым! Так и срослось криво.

— Да что твои смоковницы! — рассердился Марк. — С чего ты вообще взял, что это он?

— Как не узнать Шимона? Шимона, родного моего брата, которого оплакала семья, которого прежде смерти похоронила вся община? Шимона, за которым я залез бы на самую высокую смоковницу, на гору из чистого базальта, лишь бы снять его оттуда, хоть бы я переломал все свои пальцы... Но, увы, пока он не вернется к нам, мы ничего не сможем сделать.

— Да что ты придумываешь, — рявкнул Луций, — разве Симон — иудей?

— А разве это римское имя? Шимон, сын Йосефа, ученик Гамлиэля^[89]. А на ваших языках выходит — Симон.

— Да, — растерянно подтвердил Луций, — он называл эти имена...

— .. мой брат и лучший друг Шауля, того самого Шауля, которого вы потом назвали Павлом. Еще одного из наших... отступников. Но все по порядку. Ты знаешь, добрый господин мой Марк, и вы, стоящие вокруг, что мы, иудеи, не ценим в этом мире ничего выше нашей царицы Торы, а она во внешнем своем проявлении есть книга, и значит, мы ничего не ценим выше книги. И едва мальчик начинает отличать сладкое от горького и родных от чужих, мы учим его отличать алеф от бет — это наши буквы, впрочем, и вы заимствовали их у нас.

— Не заговаривайся! — на сей раз разозлился Филолог. — Буквы наши!

— Вы взяли их у финикийцев, а они — у нас. Что значит по-гречески «альфа» или «бета»? Ничего. А в наших языках первое означает «бык», а второе «дом», и начертания букв именно таковы.

— Альфа совсем не похожа на быка! — возмутился Филолог.

— Поверни ее наоборот — и будет тебе рогатая голова. Просто греки тайком подглядывали к финикийцам в записи, как я подглядывал в книги к брату моему Шимону, и потому некоторые буквы разучили кверху ногами. Только они потом так и не переучились, в отличие от меня.

Марк расхохотался:

— Сбил, сбил спесь с грека! Первый, кому удалось! Черенок, ты мне по нраву.

Продолжай. Хочу узнать историю твоего брата.

— История эта коротка и печальна, хотя жизнь его оказалась долгой, да хранит его Всевышний и да возвратит сердце его к народу своему. Брат мой Шимон учился у ног великого Гамлиэля, главного знатока наших законов и обычаев, а я был тогда слишком мал, чтобы что-то понимать, чтобы меня можно было брать в дом учения. Но он вместе с Шаулем часто приходил после занятий у учителя, они продолжали спорить. Люди в шутку называли их тогда Шаммай и Гиллель^[90] — это другие великие мудрецы нашего народа, которые так по-разному толковали Закон. И Шауль, конечно, был Шаммаем, а Шимон...

— Слишком много имен, Черенок, — прервал его Марк, — они нам не нужны. Особенно с этим варварским шипением.

— Короче говоря, когда можно было толковать строго — Шауль толковал строго. Он говорил, что вокруг любого правила, как вокруг колодца, нужно выстроить дополнительную ограду, чтобы никто случайно в него не упал.

А брат мой Шимон считал, что ни к чему это, что заповеди и правила даны нам как светильники, а не как колодцы, чтобы каждый мог видеть свой путь и ступать верно. И что не надо вмешиваться в жизнь человека с мелочными придирками, не этого от нас ждет Всевышний. И мне тогда казалось, что брат мой прав, а Шауль — нет. Я и по сю пору так думаю, хотя...

Но обо всем по порядку. Потом возникло какое-то новое учение, они говорили, будто галилеянин Ешуа и был Машиах^[91] — великий пророк и царь, которого мы ожидаем. Ну, не о нем первом такое говорилось и вряд ли о нем последнем. И Шауль, конечно, предпринял все меры, разыскивал сторонников этого учения, — потом их стали называть «христианами», — и тащил их на суд. Ну а через какое-то время... Знаете, когда сильно что-то ненавидишь, иногда сам начинаешь этому уподобляться. Однажды Шауль исчез. И через год-другой мы услышали о нем как о пламенном проповеднике нового учения.

— А при чем здесь твой брат?

— Вот тут мы и добрались до самого главного и печального события в его жизни. Знаете, когда начинается противостояние, многие сердца ожесточаются. Нужно было остановить зловредную секту, заградить уста лжеучению... Учителя и законники спорили, но все чаще спор сводился к одному: как стать самым правильным и самым строгим, как вознести себя над толпой. Не по душе это было Шимону.

Кто-то скажет, что он просто завидовал другим, старшим знатокам Закона: дескать, они знали не больше него, они сидели не ближе него к Гамлиэлю, — но они стали править от имени Торы, а Шимона никто не хотел слушать.

Я прекрасно помню этот день, и для меня он чернее дня, когда Израиль поклонился золотому тельцу или когда разрушили наш Храм нечестивые... э... вавилоняне. — Тут Филолог хмыкнул. — Брат пришел ко мне, — а мне было столько, сколько было ему, когда снял он меня со смоковницы, и я уже сам изучал Тору у ног Гамлиэля, — и он сказал... Мне трудно повторить его слова. Но он

сказал: «Я хочу просто быть собой, и больше ничего. Полагаю, именно этого ждет от нас Бог. И я знаю только одну веру на свете, которая даст мне это, — вера в Ешуа, нашего Машиаха, Который освободил нас от рабства букве и ввел в царство смысла».

— Что-то плохо понятен мне этот рассказ, — прервал его Марк, — ты говоришь, как будто все мы тут иудеи и знаем наизусть слова ваших мудрецов. Так что, твой брат стал христианином?

— Вы называете это так, — согласился Черенок, — а для нас он стал отступником. Можно толковать заповеди и наставления, можно спорить о них и возражать... Но Шимон сказал: «Не хочу прожить остаток жизни, препираясь, можно ли в субботу растирать в ладонях колосья и сколько шагов допустимо в оный день пройти за городские ворота, ибо не в том суть. Она — в том, что в субботу человек должен помнить Творца и подражать Ему, спасать, а не губить. Хотя бы только в субботу. И был лишь один Учитель, который посмел это сказать, — я пойду за Ним». И еще добавил из изречений наших любимых учителей: «Если не сейчас, то когда?» И горечью обернулся для меня этот сладкий плод мудрости. Мой брат оставлял меня. Он взбирался все выше и выше по тонкой ветви, с которой невозможно слезть, не расшибившись насмерть, а я не знал, как его остановить.

«Так что же, — вскричал я, — ты хочешь уподобиться отступнику Шаулю?» А он ответил грустно: «Нет, свой путь у друга моего Шауля, или Павла, как называет он себя теперь сам, и свой — у меня. Мой пылкий друг сменил путь, но не сменил походки. Он все такой же резкий и однозначный, он так же громит непокорных и насаждает свое слово. А тем, кого нет рядом, — пишет письма».

Я видел, как дорог ему друг, и решил хоть немного поддержать его. Я сказал: «Что ж, если после него останутся книги, мудрецы будущего разберут наши споры, и хоть в этом я могу его одобрить. Доверить папирусу свое слово — значит сберечь его от искажения. Потому мы и книжники, ученики Гамлиэля». А он ответил печально: «Нет, я так не думаю. Пройдут века, и будут новые книжники спорить о малейших буквах в посланиях Павла, и не будет конца этому спору, и каждый захочет, чтобы Павел был похож на него самого. Да и Сам Ешуа, пожалуй, тоже. И вот фарисеи постятся во вторник и четверг, а они придумают, как поститься, к примеру, в среду и пятницу, будут строго следить за посторонними и снова спорить о правилах поста. Не хочу. Так что я... я буду просто ходить по свету и беседовать с людьми. Я буду жить, буду просто собой, буду помогать другим людям найти себя. Я буду стеклышком, просто цветным стеклышком, сквозь которое проходит Божий свет».

— Сократ! — Филолог аж присвистнул от удивления, — иудейский Сократ!

— Отступник, — со вздохом отозвался Черенок, — иудейский отступник. Да разве это путь книжника? Великий Йоханан^[92], когда Иерусалим был осажден, притворился умершим... а лучше сказать, временно умер ради наших Писаний. Ученики вынесли его за пределы города якобы для похорон, ведь римские легионы не выпускали из города живых. И тогда учитель Йоханан встал и попросил отвести его к Веспасиану, да продлит Всевышний его дни.

Марк не смог, даже не попытался скрыть кривой ухмылки — слишком неожиданно прозвучало теперь это имя. А Черенок продолжал:

— Он и вправду умер для Города, в который не суждено ему было вернуться, для тех ревнителей, которые не простили ему пресмыкания перед полководцем захват... славного города Рима. Но ценой своей смерти он спас наши книги. И сейчас в далекой Галилее собираются уцелевшие книжники, они приносят с собой свитки, они продолжают изучать Тору — и значит, жив наш народ. Вот путь книжника.

И я попал в рабство за книги, — я же рассказывал вам свою печальную историю, как пытался я спрятать в укромных местах то, что еще можно было спрятать, и как мне это не удалось. Но наверняка удалось другим — и значит, оживет наш народ через тысячелетия.

Только без брата моего Шимона. Он отбросил книги. Он отказался от иудейства. Он... все равно он любимый мой брат, и нет для меня никого из людей, о ком бы я плакал горше: ни жена, ни дети, о судьбе которых мне ничего не известно, ни отец с матерью, уже приложившиеся к праотцам своим. Брат мой, бедный мой брат на тонкой ветви смоковницы.

— Довольно, — Марк прервал его плач.

То, что казалось изящным риторическим состязанием, превращалось в вечер чужих семейных воспоминаний, и Марк уже жалел, что все это затеял. Рабы есть рабы, порядок есть порядок, и пока не настали Сатурналии^[93], ни к чему спрашивать их о желаниях.

— Расходитесь! — Марк помахал рукой, — о решении я объявлю в другой раз!

А на Остров напознала ночная тьма, и прекращался дождь, и вздыхало море, и благоухала весенняя земля, и соловей, безумный соловей начинал свою песню даже раньше, чем стемнело, а в ответ ему запевал другой, и третий, словно желали показать людям истинную красоту, не зависящую от их распрей.

И через час или два, уже перед тем, как отойти ко сну, Марк все же задержался на пороге своей комнаты, чтобы ответить на вопрос Филолога:

— И что же ты решил?

— Еще не принял решения. Но вот что мне интересно: ты думаешь, этот Симон-Шимон — один и тот же человек? Они говорили о нем так по-разному...

— Я думаю, что они видели одного и того же. Но запомнили разное. Каждый запомнил такого, какого запомнить захотел.

— А каким он был на самом деле?

— Ты хочешь сказать, каким бы запомнил его ты? Кто же знает это лучше тебя? Или каким запомнят его благие боги? Боюсь, нам они об этом не скажут. Или каким он останется в памяти потомков? Наверное, никаким — ведь он не оставил писем в отличие от этого... Павла? Да, Павла. Мне попадалось в руки что-то от него. Написано ярко, хотя и не скажешь, что гладко. Его будут помнить. Симона — нет. А

может, и не было никакого Симона. Мало ли людей с таким именем? Невысоких, седоватых, даже и с поврежденным пальцем?

Марк помолчал. А потом все же добавил:

— А нас? Нас также забудут, когда умрут все, знавшие нас?

— Наверное, — пожал плечами Филолог, этот вечный его жест то ли недоумения, то ли безразличия, — а пока будут жить, мы будем слишком разными в разных головах. Несовместимыми. А потом кто-нибудь сочинит всякие небылицы, назвав нашими именами собственный вымысел — только так ведь и входят в историю.

Марк усмехнулся — как обычно, когда хотел показать свою мнимую власть над тем, что ему совсем не подвластно.

— Оставим историю. Меня заботит все тот же проклятый вопрос. Кто похитил кольцо? У тебя есть новые подозрения?

— Может быть, Рыбка? — Филолог пожал плечами.

— Но ей-то зачем?

— Ты же с ней спишь, Марк, — ответил он как о чем-то очевидном для любого ребенка, — мало ли что придет в голову женщине?

— Ты просто завидуешь, потому что сам не спишь ни с кем. Видимо, утратил силу.

— Обрел, обрел силу, Марк, в философии и не имею нужды в том, чтобы погребать свою плоть в чужих пещерах. Все и так неплохо.

— Так зачем кольцо Рыбке?

— Она заметила, что кольцо для тебя — святыня. Наверное, хочет что-то такое с ним сделать, чтобы ты ее не бросил, а то и сделал со временем женой. Ты же сам говорил, что такое законно, хотя и нелепо.

— Она, конечно, глупа, но не настолько. Никогда женщины не смогут прикасаться к мужским святыням, и никогда не смогут мужчин ни к чему принудить.

И повторил:

— Женщины — никогда.

На этот самом месте ровно через тысячу девятьсот два года будет стоять коноба — маленькое частное кафе, где ответственный работник Милица Радомирович будет принимать советского товарища Беллу Аркадьевну Акиндинову.

Белле под пятьдесят, и столько же хозяйке кафе, Вере Радомирович, а Милица лет на пятнадцать помладше. Вера с Милицей не знают пока, что они однофамилицы и даже дальняя родня. Да и кто тут не родня, на Балканах? Обе они черноглазы и черноволосы, только Вера не закрашивает седые пряди, поэтому ее волосы — как подернутое пеплом кострище. Вера постройнее, Милица немного начала расплываться, а Белла так и вовсе веселая толстушка с кудрявой копной крашенных блондинистых волос, она сероглазая и курносая. Одета не для выходной поездки, а в деловой костюм с парадной брошкой, — но она же, в конце концов, советский представитель за границей! Милица в джинсах и ковбойке, на шее голубые бусы, а Вера — в узком темном платье, как тут носят, на островах.

— Возьми, Белла, осьминогов. — Милица отлично говорит по-русски, на языке великого Ленина и первой в мире пролетарской революции. С Верой она общается на загребском диалекте сербскохорватского, Вера отвечает на местном, далматинском. Если бы с ней заговорила советская гостя, она бы ответила на чистом русском, но демонстрировать свое умение не спешит. На Острове вообще не принято суетиться.

— Ой, да ну, страсть такую, — отвечает Белла. — Мне бы шашлычка. Шашлычок будешь, Мил?

— За компанию буду, — кивает Мила, хотя ей явно хочется осьминогов. Но обижать подругу не следует, она заказывает мясо, салат, лозовую ракию для аппетита и красное вино к шашлыкам-ражничам. И немногословная Вера, кивнув, уходит, чтобы вернуться через полминуты с двумя рюмочками домашней ракии и маслинами на закуску.

— Мил, ты ведь тут родилась? На Острове?

— Да нет, я в Задаре. Мама отсюда. Ты знаешь, я ведь мамину фамилию ношу.

— Почему?

— Отец осужден за военные преступления и повешен. Даже не хочу о нем говорить. Он был... фашистский каратель. Фридрихом звали. В концлагере тут неподалеку зверствовал.

— Так ты что, немка наполовину?

— Я югославка. Мама моя — с этой земли, и чье бы семя ни упало в ее утробу, она могла родить сыновей и дочерей только Югославии. Так она всегда говорила.

— А мой был честный советский бухгалтер, сгинул под Москвой осенью сорок первого, — отвечает Белла, — Аркадий Абрамович Шнеерзон. А фамилия у меня тоже мамина. Знаешь ведь, в какие годы росли... Не было бы дороги Беллочке Шнеерзон. Акиндиновы — другое дело, колхозники Калининской области

Старицкого района. Мама по партийной линии в гору пошла, в Москву переехала. Там они и познакомились.

— Мы обе безотцовщина, — усмехается Милица, — война съела отцов. Давай выпьем за вечный мир!

Вера Радомирович уходит к роштилю жарить свиные ражнички, она ведь работает в собственном кафе одна, только вот еще девчонка, сирота, помогает, когда может. Живет у нее. Но сегодня она в школе, главное, чтобы выучилась, человеком стала — Вера уж сама справится.

Вера не станет рассказывать при советской гостье, что и у нее материнская фамилия. Ее отец, штабс-капитан Марк Костомарский, георгиевский кавалер и участник русско-японской, первой германской и гражданской войн, похоронен неподалеку на русском кладбище подле Савина монастыря в Херцег-Новом.

Это был самый понимающий и неунывающий человек на свете. Но в Югославии не во все времена было удобно сироте носить русскую фамилию. А замуж, так уж получилось, она не вышла. Много было вокруг мужчин, но такого, как папа, не нашлось.

Милица была замужем дважды и разведена, растит двоих детей, у Беллы второй муж и сын, который никак не повзрослеет. Но прогрессивные современные женщины и не обязаны брать чужие фамилии, не так ли?

Нет, как это все-таки удивительно — жить в сказочной далматинской красоте. Не раз в году в отпуск в Крым, да и то если путевка достанется, а вот так, запросто, чтобы вышел из дома, а там — чудо расчудесное. Не бетонные коробки московских новостроек, пусть и улучшенной планировки, не зимняя, никак не уходящая хмарь... Иной раз ошметки снега по дворам почти до майских не тают, а потом непролазные лужи, да автобусы битком, потому что метро еще только через пару лет откроют, а еще секретная, ответственная работа, о которой и мужу не расскажешь. А потом старость, пенсия, дачка. И внуки, если балбес Степка образумится, порадует.

Вот она, вся жизнь активистки. А тут, на приволье, совсем, наверное, другое. Свобода, простота, чистота, люди здоровы и счастливы без нудных болячек, без диспансеризаций, без профсоюзных санаториев и народных целителей. Тут мир, тот самый мир, хотя и по этим островам ведь прокатилась война. И не одна. Но как ни ломай живое, оно срастается и продолжает жить.

И они выпивают за это дело отличной домашней ракии.

— Плохо, что ты не могла носить фамилию отца, — горячится Милица. — Это все Сталин, он извратил ленинское учение. Он допустил примитивный шовинизм, если когда-нибудь такое появится у нас, Югославия развалится. Богу хвала, товарищ Тито — хорват, представитель не самой большой национальности. Пока жив он, Югославия жива!

— Ты, что ли, верующая, Мил? — удивляется Белла.

— Почему? — ответное удивление.

— Бога хвалишь.

— Я?!

— Ну да, говоришь: «Богу хвала, товарищ Тито...»

— А, — отмахивается Милица и закуривает, — будешь, нет?

Белла будет. Она берет импортную сигарету, прикуривает и с удовольствием затягивается.

— Племянник привез из Гамбурга, — уточняет Милица, — работает там, в Западной Германии. А «Богу хвала» — это просто говорят у нас так. Присказка, пережиток. Знаешь, на Острове еще какую-то святую Миру могут упомянуть, ну просто как пословица такая. А я убежденная атеистка, как и подобает нам, коммунистам. Проклятый Сталин допускал много перегибов и заблуждений, он загубил крестьянство, он подорвал мелкое предпринимательство. Ты видишь, как нас обслуживают в кафе? Это потому что кафе частное. Товарищ конобарица^[94] не эксплуатирует никого, она честно трудится и зарабатывает свой хлеб. И качество обслуживания, знаешь, не сравнить...

— Знаю, — соглашается Белла.

— Ив частности, Сталин заигрывал с религией. Вот товарищ Хрущев пошел правильным курсом. Но наш товарищ Тито понимает неготовность широких слоев югославского крестьянства к радикальной атеистической пропаганде. Все будет, но постепенно. Югославия будет не только социалистической, но и атеистической тоже. Главное, без албанских перегибов.

— Вот не вполне соглашусь. — Белла выпускает облачко дыма и допивает ракию. — Повторим?

Милица свою еще и до половины не выпила, она не такая крепкая, как советский товарищ. Как все-таки сильны эти русские, как умеют они преодолевать трудности, как прорываются всюду первыми, — а от того и ошибки, и перегибы. Может быть, югославский их эксперимент потому так и удачен, что перед глазами — страшная русская кровь и не менее жуткое разорение русской деревни. Милица видела, она бывала в СССР. Русские товарищи шли первыми, они срывались, они дали коммунистам будущих десятилетий пример, как не надо. И за одно это их надо уважать.

Так что Милица подзывает товарища конобарицу, Веру, и заказывает еще две ракии. Так, поди, не угонится она за советским товарищем. Но и отказывать неловко.

Вера приносит. Она ставит рюмочку перед русской, сказав «пожалуйста» с небольшим, напускным акцентом, а перед ее югославской коллегой — с родным «изволите». И идет резать салат, пока жарятся ражнички.

Папа тоже выпивал рюмку-другую по праздникам. По будням — не хватало денег. Но он никогда не сдавался. Он сажал маленькую Веру на колени и рассказывал о прекрасной России, где зимой все белым-бело от снега, где весной звенит капель и бегут ручьи, а нежарким летом луга и леса орловского их имения поднимаются до самого неба, где поют жаворонки. А уж осень, золотая русская осень... И когда-нибудь они обязательно туда вернутся, вместе с мамой, вместе с

Веркой, вместе с Сашкой (это в честь югославского короля он так младшего назвал), и будет все как в сказках, как в стихах Пушкина. Нет, не вернулись. Папа сгорел от рака (и ведь не помог далматинский наш климат!) в тридцать шестом. Брат Саша застрелен при облаве в сорок третьем. Мама тихо угасла в пятидесятом. Тогда Вера и переехала на Остров, тогда и решила сделать кафе при старом мамином доме.

Русских с тех пор Вера встречала нечасто и, скорее, боялась. В них она видела большевиков, которые украли у папы его прекрасную Русь, убили его друзей, ранили его пулей прямо в грудь под Воронежем. От того болел он много и рано умер.

И вот — большевичка из Москвы у них на Острове. И с ней югославская их союзница.

Другие, белые русские постепенно уходили на то самое кладбище при Савином монастыре. Или уезжали в Прагу, Берлин, Париж — что им югославское захолустье... А когда во время войны появились какие-то новые русские с немецкими орлами на униформе и вроде бы белыми песнями, Russisches Schutzkorps^[95] — Вера никак не могла этого понять и одобрить. Русские — за немцев?! Захаживал к ним один вежливый немецкий гауптман, звали Фридрихом, он еще прихрамывал. Был ласков, делился продовольствием, в военные годы куда как кстати. Что нашел в них — Вера не знала. Тосковал по дому, наверное.

А потом они убили брата Сашу, приняв его за партизана, и России рядом с Верой не осталось.

Тем временем Белла залпом хлопает вторую рюмку ракии и продолжает разговор:

— Насчет религии... Что-то в этом есть. Знаешь, ведь с Вадимом моим как было? Уже совсем диагноз поставили, четвертая стадия говорят. Терять нечего. А посоветовала мне тетка: своди, говорит, в церковь его, исповедуй, причасти, и сама туда же. Я ей: ты что, да ты знаешь, где я работаю? А она мне: ну, тогда готовься хоронить. Три дня я ходила сама не своя: как это я в церковь его поведу...

А потом решила: ну и что? В мире много есть неизведанного. Мы материалисты, но мы не можем отрицать, что еще не все явления окружающего мира объяснены научно. Ну как лекарственные травы, например: когда-то ими пользовались, не зная химии. И они помогали, они же на самом деле содержат всякие вещества. Или вот мумие — никто не знает как, но помогает.

Короче, сходили мы. Не в Москве, конечно, в области. Я уж не стала на эту их исповедь ходить, — не по чину мне, — а его отправила, и причастили его потом. И знаешь, через неделю в госпитале окружном сказали: ошибка вышла. Опухоль-то доброкачественная, перепутали они там что-то. А я думаю: может, все же есть там какая сила, оставила она мне мужика-то... В общем, захожу иногда свечку поставить. Знал бы батя мой, что я его в записки эти их вписываю... А только видела я сон. На день его смерти, в аккурат как в похоронке сказано. Идет он голодный по дальней дороге, а в руках у меня хлеб, ноздреватый такой, пахнет детством. И хочу побежать и отдать ему — а он же, думаю, партийный был, нельзя

ему хлеба. Да еще и еврей.

— Это чушь и субъективность, религия — опиум. — Милица тоже допивает, давясь, вторую рюмку, чувствует, что плывет, и понимает, что третью заказывать не станет. Денег-то хватит, а вот сил на эдакое пьянство — нет. Два раза по пятьдесят перед обедом — не всякий мужик такое выдержит. А русская баба, как это... попа на скаку остановит? Нет, там что-то было другое. Милица захмелела, не может вспомнить.

Но и Белла расслабилась. Как объяснить им, легким, беззаботным, здешним, что все очень непросто, что борьба с предрассудками и пережитками — это одно, а чувство сосущей, яростной пустоты — совсем другое. Что вдруг оно... вдруг оно все-таки есть? И ни Маркс с Энгельсом, ни решения съезда не спасут там, у последней черты, а тем более — за ней. Что заходит, заходит сама, надвинув платок до бровей, в дальний деревенский храм, чтобы никто не углядел, молебен заказать за упокой отца. Хоть он и некрещеный, а пусть. И всех, всех предков своих крестьянских и еврейских, какие только приходят на память, пишет торопливо в эту бумажку с крестиком, еврейские имена переиначив на православный лад. И что расспрашивала уже в одном месте, как бы Степку покрестить, чтобы без документов — сама-то она с детства крещеная. Наверно, крещеная, баба Вера ведь в церковь ее таскала, она ж молилась до последнего своего денечка.

А все же и бдительности терять нельзя. Доверишься слишком попам — слопают с потрохами. Вот так и идет она по жизни между.. что там у Одиссея было? Чудища два справа и слева. Между страхом утратить идеологическую бдительность, сознательным таким страхом, и ужасом смерти, жгучим, противным и неотвратимым ужасом распасться на атомы, вылететь дымом из трубы крематория. Как тетя Ривка, как дядя Ицик, как бабушка Нехама, как вся, вся папина родня из белорусского местечка, от глухих старух до сопливых пацанят, до грудных младенцев. Не может она слышать и слова такого — «крематорий» — с тех пор, как узнала.

Только папе Аркаше выпало, можно сказать, счастье — умереть с оружием в руках, быть зарытым в чавкающую подмосковную землю осенью сорок первого. Да и то еще неизвестно, как оно сложилось — хватило ли ему, ополченцу, винтовки, да и не в расстрельный ли ров был свален. Могилы ведь нет. Только одно счастье — с его-то носом немцы его, если живым взяли, сразу пристрелили, хоть в плену от голода не угасал. И ведь тоже — все под знаком креста. Черного фашистского креста. Как забудешь?

И как же им все это объяснить, блаженным островитянам...

— Знаешь, подруга... — Белла крепко задумывается, а потом все же решается, — ладно, расскажу. Тебе можно. Только честное коммунистическое — никому и никогда. Даешь?

— Даю, — серьезно кивнула Милица.

— Не имею права, но тебе расскажу, поделюсь, можно сказать, опытом. Если пригодится, скажешь, собственная твоя наработка. На советских товарищей не ссылайся.

— Не буду.

— Так вот. У нас ведь, знаешь, сейчас тоже вроде как у вас с этим делом, с попами, то бишь либерально даже очень. Ну, типа пусть себе молятся. Интеллигенция даже некоторая к ним потянулась. Что ж, это пусть. Это не вредит нашему общему делу и отчасти даже помогает. Но только надо направлять, понимаешь?

— Как ты их направишь? Отсталый элемент! Мрако... как это?

— Мракобесие. Да нет, не очень, знаешь ли. Может, иногда и не без этого, ну это как у наших сталинистов, сама понимаешь.

— Да-да, вот именно! Попы и сталинисты тянут ваш Союз в прошлое. А вы...

— А мы не позволяем. И сейчас расскажу как.

Вера прекрасно слышит этот разговор. Попы и сталинисты... Как она может так говорить! Сталин был палачом России, самым страшным ее кошмаром вместе с Лениным и Троцким — и после войны протянул свои корявые когтистые лапы и к ее Югославии. Но тут обломался. Остров — не для него.

А попы... После недели грязного труда: то грузчиком, то рыбаком, то в лучшем случае официантом в конобе, как она сейчас, папа вставал к утренней службе в воскресенье, надевал лучший, он же единственный, костюм, повязывал такой же единственный галстук. Она ленилась, часто не шла с ним, как и мама, как и братик. А потом, лет в десять, вдруг поняла: там, на службе в Савином монастыре, на высоком холме над морем, папа встречается со своей Россией. Наклоняя голову под расшитую епитрахиль, под сухую и тонкую руку священника, вслушиваясь в привычное течение службы, подходя к золотой чаше за причастием — возвращал себе утраченное прошлое и входил в вечность. Это было важнее для него, чем отоспаться за всю тяжкую неделю, чем выпить вечером ракии или нажарить на праздник свиных ражничей, как она сейчас... Только оставалось ему недолго. А может, как раз, сколько надо, и теперь он вернулся домой, в страну золотого и чужим не подвластного счастья?

Да, она пожарит им мясо, порежет салат, нальет и ракии, и домашнего вина, она гостеприимная хозяйка. Так папа ее научил.

А Белла тем временем рассказывает, собирается, голос крепнет, фразы ложатся ровно, логично, прямо как на заседании:

— Нашего отдела разработка. Есть, знаешь, такой круг особо продвинутых попов, и с ними некоторые из интеллигенции. Эти не просто лбом о пол стучат — собираются, обсуждают разное, литература там всякая. Но антисоветчины особой нет, они как бы не совсем про это. Да и ладно, не враги они нам по сути. Нужно только проследить, чтобы не сбили их с пути всякие там Солженицыны. А о вере — это пускай, я же говорю, что-то в этом есть. Точно есть там что-то такое, и пусть они о нас помолятся — точно не будет хуже. Ну а если вдруг и нет ничего — что мы теряем?

— Бдительность! — отозвалась Милица. — Надеетесь на богов!

— Нет, бдительности мы не теряем, о чем я тебе и расскажу. Только никому, да? Вот придумали мы для этого кружка такую историю... был один священник, в лагерях в свое время сгинул, назовем его, скажем, отцом Феофилактом. Биография подлинная — только мы ее дописали. Не под Норильском будто его похоронили в братской могиле, а отсидел, вышел, поселился в глухой деревне ото всех подальше, ни с кем не общается. Есть только женщина одна благочестивая, она знает, где его искать. И вот приехала эта раба Божья к нашим подопечным, рассказала все, как мы сочинили, про отца-то Феофилакта. Поместили его в Калининскую нашу область, откуда родительница-то моя, разве что в соседний район.

— И что, поверили?

— Не сразу, может, но поверили. Феофилакт-то прозорливым оказался: через нее письма передавал, там все расписано, вся жизнь их до малейших деталей, у кого скорби какие и радости, и на все совет духовный. Тогда поверили, что есть у них за лесами да реками чудный старец, который их видит до донышка, да опекает, наставляет, ведет за собой.

— Зачем вам это, Белла? — ахнула Милица.

— Ну, хороший агент всегда пригодится. Да под роскошным таким прикрытием... Ближние цели ясны: чтобы не читали всех этих Солженицыных, чтобы покорны были властям, уж какие ни есть. Они ж, поди, и сами не торопятся на допросы. Проще им сидеть тихо. А когда еще и старец такие советы дает, то и вовсе замечательно. И совесть не мучает. Пусть запомнят навсегда: Церковь вне политики, Церковь всегда за власть, и это установлено свыше, с этим не спорят.

— Но разве вам не хватает обычных мер воздействия? Бесед, а если потребуется, то и судебных мер? Агентуры, наконец?

Белла повертела в руках вилку, словно собираясь с мыслями. Что ж, делиться опытом — так делиться.

— Агентуры, конечно, хватает. Более чем. Но ведь это все внешнее. Ты же знаешь сама: наилучшая вербовка — когда он не подозревает, что завербован. Когда не за награду и не под страхом, а сам хочет. Мы не ежовские мясники, Милка, а на дворе не тридцать седьмой. Это тонкая игра. Это современно. Это перспективно. Это, в конце концов, красиво.

Милица удивилась:

— Вы так с ними возитесь, будто советской власти могут быть опасны эти бородатые!

— Пока не могут, ты права. Только ведь они с чем-то таким очень глубоким работают, с чем мы пока не умеем, только учимся. И дальше как оно в стране повернется, кто его знает?

Милица взмахивает рукой, рюмка летит на каменный пол, со звоном рассыпается в крошево. Вера выглядывает с кухни: ражнички почти готовы, скоро можно подавать, а если эти большевички хотят побуянить — она не против. Она даже не будет включать в счет разбитую рюмку, они ведь часто бьются, у нее есть

запас. Они папину Россию вдребезги — что ж рюмку-то жалеть? Вера замечает осколки.

Но Милица вообще не замечает хозяйки, она разгорячена не столько ракией, сколько неожиданным сомнением советской гостьи, на грани буржуазного оппортунизма:

— Что ты имеешь в виду?

— Ну уж никак не падение нашей власти. Наша власть вечна. Но посуди сама — она переменчива в деталях. То мы преследуем верующих, то позволяем им собираться как захотят. Или вот хоть с Югославией — то врозь, то вместе, то на дистанции. Обстоятельства бывают разные, а марксизм, как известно, не догма, а руководство к действию. Я не удивлюсь, если лет через пятьдесят православие руководством будет одобрено, под нашим, естественно, присмотром. И не гляди на меня так, подруга. Все может быть, кроме одного — нашей капитуляции.

И вот тогда очень пригодятся наши наработки. И даже если не будет такого — все равно важно поддерживать в этих... ну, в верующих, настрой на авторитет. К сожалению, ленинский ЦК и лично дорогой Леонид Ильич им не годятся — ну что ж, пусть будет этот самый Феофилакт из залесья. Главное, чтобы люди отвыкали жить своим умом, принимать самостоятельные решения. Чтобы все было навсегда расписано и распределено, чтобы власть была безусловной и несменяемой, и власть эта всегда была, есть и будет нашей. А как ее назвать — дело техники. Просекла?

Милица только смеется в ответ:

— Я всегда своим говорю, что у советских товарищей нам еще учиться и учиться! Как завещал великий Ленин!

— И знаешь, подруга, я тебе вот что еще скажу. Мы все — безотцовщина. Вся страна, вся. Какие отцы на фронте сгинули, какие в лагерях, а какие язык в жопу засунули или в бутылку залезли. Кончились наши батьки, когда Сталин себя Батей назначил. Вот дети наши, может, другое дело... Да и то разве внуки. Мы же тоже подранки, у нас детства-то нормального не было, мы своим не можем передать, чего нам от батек не досталось. Светлая тебе память, папа Аркаша...

Но рюмка уже пуста. Белла побаивается заказывать новую порцию водки — может быть, для них этого много, так тут не принято? А раз Милица угощает, то поперек нее неловко как-то. Да и понимает ли эта курица югославская, хозяйка кафе, по-русски? И Белла просто заканчивает свою пламенную речь:

— Вся страна безотцовщина. И попы эти какие ни на есть грамотные да прогрессивные — тоже. Ты им только намекни, что там, за семью морями, за десятью горами, в лесах тверских дремучих, водится какой-то великий старец, всем им отец — они же молиться на него будут. Папа нашелся! Настоящий, мудрый, безошибочный, всеведущий и всеблагий! И кто эту их потребность удовлетворит, тот и будет ими править. Ныне, присно, веки, аминь.

Вера тем временем подает гостям сочащийся золотистым жирком шашлык и сочную нарезку из помидоров и перцев с козым сыром и оливковым маслом, и пышные пшеничные лепешки. На Острове умеют делиться радостью жизни, и

никаким большевикам этого не отнять.

Вера — у нее есть вера. Тихая, спокойная, может быть, не такая пламенная, как у отца. В храм ей не набегаться: по воскресеньям в кафе больше всего посетителей, и далековат тот храм, и вообще он католический, не как Савин монастырь. Но это ведь не очень важно, правда? Она молится — говорит с Богом утром и вечером, и когда ей грустно, и когда весело, и когда ее не понимают. Он поймет — всегда. И она Его понимает, ей ясны Его книги, живет по ним — как дышит. Отшумела мятежная юность, и так стало просто и ясно жить по Его слову. До доньшка, до глубины видно все — как в ласковой лазури Адриатики. Иго Его благо, и бремя Его легко.

И там, за кругом голубых гор, пропахших ветром и травами, солью и солнцем, за ласковыми летними дождями, за шепотом теплеющего моря, за бессонными ночами и немислимыми рассветами, ждет ее встреча с папой. Нет на Земле края прекрасней Южной Далмации, но любая былинка в Царствии Небесном краше ее во сто крат, и милосердный Отец дарит свет и тепло тем, кто не пьет жизнь большими от жадности глотками и умеет ждать своего счастья.

Утро. История Рыбки

Марк просыпался по-прежнему рано, до света, и в этот раз — рядом с Рыбкой, помощницей поварихи. Она приткнулась на краю господской постели, край одеяла едва прикрывал, что можно было прикрыть, и Марк подумал, что она, должно быть, замерзла прохладной ночью, но не решилась его будить, чтобы по-настоящему укрыться одеялом.

Нет, не в первый раз он позвал ее к себе, чтобы голод мужской утолить, но в первый раз оставил на ночь с собой. Зачем, он и сам не мог сказать. И даже — зачем позвал накануне. Не было уже в нем того молодого звона, удалого нетерпения — давно уже не было. А может быть, просто засыпать рядом с кем-то приятнее, чем одному?

Солнце еще не брызнуло ранним светом в окна и дверные проемы, но ночная темнота разредилась, можно и без светильника различить черты чужого лица и жесты. Рыбка потянулась, словно и не дремала, тут же потянулась за своей одеждой: ей же пора на кухню, готовить завтрак, но Марк прикоснулся к ее плечу:

— Подожди.

— Аве, господин. Пусть боги будут благосклонны к твоему дому, пусть солнце подарит тебе свою радость, как ты дарил мне свое семя этой ночью.

Речистая рабыня и хорошо говорит по-гречески. Марк раньше не замечал. Впрочем, раньше он ее и не слушал. Только имел.

— Расскажи мне о себе. Все рассказывали, о тебе ничего не знаю.

— Что нашел ты во мне, господин? Просто маленькая рыбка на твоей кухне. Ничего такого, о чем стоит говорить.

— Расскажи, откуда ты, как попала ко мне. Ты же не родилась рабыней? Ты ведь иллирийка?

— Так, мой господин, я из племени мелкуманов, мы живем к северу от этих мест. Мы там не видим моря, зато небо к нам ближе, а горы наши много мощнее и выше холмов, которые здесь зовутся горами. Мы пасем своих коз и овец, растим хлеб в узких долинах, где текут ручьи, а на южных склонах наших гор вызревает даже виноград, но мое племя не разводит винограда. Свое хмельное питье мы получаем из кислого молока.

Наше селение стоит на самом высоком и самом красивом из всех обитаемых мест — выше только облака, дожди и божества, дороги смертным туда нет. Нас хранит богиня, имя которой мы боимся произносить в родных краях и называем ее «Та, кто растит дубы и питает ланей». Или просто Нашей Госпожой.

— А мне ты назовешь ее имя? — спросил Марк.

— Тебе... А и назову, — улыбнулась Рыбка, — оно ведь не имеет силы здесь, вдали от родных гор. А если имеет, это ведь твой дом, она прогневается на тебя. Ты же сам велишь мне его назвать?

— Велю. — Марк, смеясь, провел ладонью по ее обнаженной спине, и та отозвалась чуть уловимой дрожью. — Назови.

Рыбка поднялась с постели, нагой, как и была, протянула руки вверх, упершись ими в низкий и темный потолок, заговорила нараспев на своем собственном языке, певучем и похожем отчасти на латынь, — кажется, Марк уже начал понимать отдельные слова. Язык казался грубым и простым, но желанным и прекрасным было ее тело.

— Переведи.

Она снова подняла руки и заговорила, запинаясь, по-гречески:

— Элиа, быстрая, как змея, и яркая, как звезда, — услышь меня.

Элиа, ты принимаешь нашу соль и хранишь наши очаги — не гневайся на меня.

Элиа, от тебя приходят сыны, и к тебе возвращаются отцы — будь добра ко мне.

— Не имя, а целая молитва.

— Только так можно к ней обращаться женщинам. Я предупредила, к ней нельзя просто так. Но здесь, может быть, можно. Здесь наши горные духи бессильны, их обычаи ничего не значат. Мне... мне ведь пора на кухню?

Она повернулась и смотрела на него из-под прищуренных век: что, нравлюсь я тебе, господин? Мне на кухню теперь стряпать — или, может, есть иное желание?

Марк рывком присел на постели.

— Подожди, Стряпуха справится сама. Назови мне лучше свое имя, расскажи о себе.

— В доме родителей меня звали Биркена, я самая младшая дочь в хижине, а значит, храню очаг.

— Как эта... Элиа?

— Да. Только я могу обращаться к ней из всего рода. Именно меня, если что... Хотя у нас давно уже не приносят людей в жертву. Ну так, чтобы резать. Именно меня, когда я в двенадцать скинула первую кровь, поставили помощницей к великому вождю — моему прадеду Бато.

— Он правил вашим селением?

— Им управляла Элиа. Он лишь рассказывал нам ее волю и волю других богов. А я помогала с ними общаться. А еще стелила ему постель, варила еду, выносила нечистоты... чего только не делала я с ним.

— И как же ты общалась с богиней?

— Все очень просто, только показать этого не могу. За такое точно духи не оставят меня в живых. Да и как мне отсюда попасть в ту пещеру, которую называют Чревом Госпожи, куда нет входа ни мужчинам, ни женщинам, познавшим мужчин, а только таким, какой была я... И только после положенных обрядов.

Марк и не знал, что у варваров может быть столь сложно устроенная религия,

но он не стал ей об этом говорить — отпугивать только. А она рассказывала, как будто нехотя, не желая выдавать тайны своего племени, но и не оставляла его любопытства голодным, как не оставила голодной его плоть.

— У нас есть ведь свои обряды, свое питье, свои воскурения... Это не расскажешь. А потом становится легко и просто, и забываешь обо всем, и ты уже не в пещере, ты летишь под облаками и говоришь с духами. Вернешься — а прадед все уже от тебя слышал. Седой, косматый, улыбается, гладит по голове. Хороший он был очень.

— Ты его любила?

— Этим словом — «любить» — называют столько всего разного... Люблю запеченное мясо. Люблю свое селение. Бато люблю. Его и тебя, господин, люблю. Слово одно, а смыслов много. А больше всего... больше всего любила летать под облаками.

— А здесь летаешь?

— Здесь нет моего Бато. И духи тут другие: морские, островные, прибрежные. Наших горных духов нет. Тут и снега почти не бывает, а у нас знаешь как навалит зимой — не пройдешь... И воздух совсем другой, тут он сырой и тягучий, а у нас звонкий, горный, сухой, пахнет солнцем. Как наши духи тут жить будут? Как по воздуху такому полечу?

— Ладно, — смеется он. — Ты гораздо убедительнее всех этих мудрецов рассуждаешь о мире божественного. Просто у тебя выходит. Вот ты мне скажи... зачем это все? Обряды эти, те, еще какие-то. Они нужны богам? Но боги благи и могучи, что мы можем им дать? Они, эти обряды, нужны нам самим? Почему мы тогда не можем понять друг друга? Языки друг друга можем выучить, а обряды — нет. Зачем все это?

Спрашивать об этом ее было глупо. Но именно потому, что глупо, он спрашивал ее. Кто знает, может быть, эти полеты над дымом дурманных трав и в самом деле что-то открыли ей, и она поделится этим сокровенным знанием ли, бредом ли? Мудростью или дуростью — но чем-то таким, что подскажет ему ответ на главный, простой и мучительный вопрос: зачем?

— Зачем? Мы бежим от смерти. — Она присела на край постели, не спросив разрешения. А он не стал ее ругать.

— Это как? И разве можно от нее бежать? Разве что на поле боя, и то, я никогда... ну кроме того случая, — и он поморщился, не стал договаривать.

— Мы все и всегда бежим от смерти, — смеясь, повторила она, — и ты, мой добрый господин, этой ночью скакал на мне, чтобы лишь удалиться, спрятаться от нее. И я, исполняя твою волю, радовалась, что на одну ночь жара и жажды стала дальше от нее, потому что она — лед и покой. И обряды наши — бегство от нее. Это я потом поняла.

— Ты говоришь неясно, — ответил он.

— Что же может быть яснее смерти? Приходят в мир пустосердечные младенцы

и становятся людьми, лишь когда узнают о ней. А она крадется за ними. Они растут, быстро бегут вперед, и смерть надолго отстает, а потом наш бег замедляется, мы переходим на шаг. Потом человек запинается, ему трудно идти — я видела это с прадедом Бато. И смерть начинает его нагонять. Смерть хватается его за руки и оставляет на коже темные отпечатки, она выдергивает ему волосы и проскальзывает внутрь, чтобы дышать гнилью из его рта.

Та осень рано сменилась зимой. А перед этим пало слишком много овец, они были больны, и мы даже не могли есть их мясо, и с козами было неладно. Лето выдалось слишком дождливым, ячменя вызрело мало, и в хижинах хранилось совсем чуть-чуть копченого мяса, сушеного сыра, зерна на долгую зиму. Но у нас был Бато, и люди приходили к нему, задавали вопросы. Приносили детей и просили спрятать их от смерти.

А что мог дать им Бато? Добрый совет вместо мяса и хлеба? Слово от Госпожи вместо нового дня?

И тогда мой старый человек — мой Бато — стал сам прятаться от нее. Он не мог бежать вперед, впереди ведь тоже была она. Он прятался в древние обряды и тягучие песни с неясными словами, как в горные пещеры, но из-под облаков я тоже приносила вести о ней. Духи говорили, что наступает голод и многие из наших уйдут через пропасть за черной солью — так у нас говорят о смерти. Я сообщала об этом ему, а он мотал головой, он утешал меня, он пел песенки о весне и любви. Что я знала о любви парней? Никто не смеет полюбить Деву пещеры, а я тогда ею была. Он мне пел про свою юность, словно там можно было спрятаться от нее.

Не помогло. И тогда Бато стал уходить глубже и дальше. Я помогала ему стелить постель и вставать с нее, я готовила еду, а он ел все меньше, и я сначала радовалась, потому что еды в ту зиму было совсем мало, гнев Пожирателей пал на наши стада. И я было думала, что Бато просто оставляет побольше еды мне.

А потом поняла: его тело сморщивается, он опять становится младенцем, но он не растет, он ест сам себя. И он уже совсем не знал, что надо делать нашему селению, где добыть еды, на что купить зерна у торговцев. Он только уговаривал всех подождать. И однажды... однажды, когда я стояла перед ним с миской вареного ячменя и остатками козьего сыра, он увидел не меня, а мою прабабку, которую я никогда не знала, — она ушла за черной солью прежде моего рождения. А может, это ее дух вошел в меня, чтобы встретиться с ним... И так он видел во мне то своих ушедших детей, то свою маму. Да, все они приходили через меня, чтобы позвать его к себе. Я ведь привыкла, что во мне говорят духи — вот они и приходили через меня.

Мне сперва было горько и обидно. Я ждала, что этот большой и сильный человек все нам расскажет, позовет не тех духов, а других, высоких и мощных духов дальних гор. И даст мне опять того питья для полетов, и я вознесусь на облака, чтобы расспросить их о будущем лете и новом урожае. Но ничего этого не было. Он опускал руку в глиняную миску и спрашивал: «Мамочка, а можно еще немного еды? Нет? Больше нет покушать? Хорошо, я не буду плакать». И улыбался мне, как младенец. А другие младенцы селения — они уходили за солью материнских слез,

потому что нечем стало питаться матерям и молоко иссякло в их сосцах. Их умерло пятеро в ту зиму — пока я еще была с ними. И только снег скрипел под санями, когда их везли к Скале последнего вздоха.

А Бато спрятался от смерти лучше них. Он зарылся в блаженное детство, где ее уже не было, а она, как океан, притаилась за сотнями гор. Он не видел ее, когда она уже входила в его сердце и печень, когда она приходила за ним как жена, как дочь, как сестра и как мать. А я все время была с ним рядом, не понимая, что происходит.

А потом поняла. Пришла утром, открыла дверь, позвала. Он не ответил. Уже остыла его рука и заоченела, и снег валил в то утро густыми хлопьями, и миска с кашей могла достаться целиком мне одной. Я давно уже отдавала ему большую часть этой каши. И я... я отдала теперь ее всю. Я высыпала ее в ту пропасть, куда нисходят души новорожденных мертвецов, я просила Владыку Теней принять Бато как царя и как младенца, ибо он был тем и другим.

И я была услышана — гулким раскатом ответили мне горы, а Бато потом часто приходил ко мне во сне, мой Бато. Он рассказывал мне и о моей смерти, но она далеко, я пока бегу от нее. Я быстро скачу, мой господин, разве не так? Разве не скакала я этой ночью, как вольная кобылица?

— О да, — усмехнулся Марк, — надо же, как ты это называешь. .. Но при чем тут обряды? При чем тут все эти новые чужие божества?

— Эти люди тоже бегут от смерти, господин мой Марк. Они нашли свое убежище. А ты не думаешь... ты не думаешь, что этот Иисус, которого повесили на дереве, и он, бедный, страдал и плакал, — что он спрятался в это свое «царствие», как Бато в свое детство? И они поверили ему, пошли за ним. Другого у них нет, как у нас не было козьего мяса той зимой.

— Ты хочешь сказать, что ничего этого нет?

— Откуда мне знать? Я простая маленькая рыбка. Я больше не Та, кто говорит с Господом — ведь и Бато уже нет, вождь стал другой, и его внучка теперь восходит к пещере. А меня... Мама дала мне на прощание талисман, ты видел его вчера на моей шее: я сняла его, потому что не должно прикасаться к нему мужскому огню.

— Это тот самый лоскуток...

— Не могу назвать его, господин, настоящим словом. Ведь его сила всегда со мной. Я сняла его и надену, встав с твоего ложа. Мама дала мне талисман, у меня отняли имя и продали меня в рабство, ведь Та, кто говорит — она и есть жертва Госпоже, главная, правильная жертва. Селение должно было жить, младенцы оставались в наших домах. Много, много мешков с ячменем и просом дали за маленькую глупую Рыбку торговцы с юга моему народу — и у Бато были хорошие поминки. Я рада. И мои старшие братья были в тот день сыты. И младенцы уже не умирали, и не стоял вой над пропастью, где ищут черную соль. Только меня на той тризне уже не было.

Меня увели, потом меня накормили, меня продали, и той же ночью я познала скачку, уводящую нас от смерти. И я... я была рада. Когда я стояла с миской ячменной каши над пропастью, куда спускалась душа Бато, я была от нее в двух

шагах. А теперь я была сыта, я была рабыней, я стала той, что утоляет голод мужчин и вновь разжигает его, — а значит, смерть моя пока подождет. И я бегу, я скачу от нее. Вот и все, что я знаю.

— А ты веришь в эти рассказы об Иисусе?

Она снова улыбнулась:

— Что скажет маленькая Рыбка о чужом господине? Было ли у него царствие или нет? Мне не говорили о том духи, не мое это было дело. Верно, было у него что-то. У Бато моего было же детство. И он вернулся к своим. Иисус хотел вернуться к отцу — значит, вернулся. Почему не поверить ему? И я вернусь к Бато, когда устану бежать, но сначала буду прятаться в расщелинах гор, в тенистых рощах, в морских водах, ибо страшна и горька черная соль и не выносит человек ее вкуса. Куда спрячусь я тогда от смерти, где найдет она меня и кого пошлет навстречу — не знает никто. Но хорошо бы это был Бато.

— Как просто, — Марк покачал головой, — как у тебя все просто...

А в дверь, завешенную тонкой тканью, пробился первый рассветный луч, лег робким светом на постель между ними, как мост или как меч. Или как вестник из других миров, где ушедшие за солью своих предков плачут на своих похоронах или радуются состоявшемуся рождению.

— Я устал от сложности, — добавил он, — устал искать. Я ищу... Я ищу кольцо с девичьим ликом, у меня его украли. Говорят, что ты.

Как еще ее проверить? Оставалось только спросить.

— Не я, господин, зачем мне?

— Не знаю. А зачем остальным?

— Разве ты не знаешь сам? — улыбнулась она.

— Ну?

— Это же просто, — повторила она эхом, — она хочет, чтобы ты любил не меня, а ее. Помнишь, что она там пела? Чтобы ты положил ее печатью себе на сердце и кольцом на руку. Что любовь неотвратима, как смерть, и, как смерть, сильна. Это же заговор, волшба. Ей мнится, она придумала, что та дева с кольца — это она сама. Она привораживает тебя, мой господин. Она кладет себя на твое сердце, а потом наденет кольцом на руку.

Она ворожит, волхвует, колдует над кольцом, а потом вернет его тебе, и ты, едва взглянув, будешь помнить только ее, желать только ее, думать только о ней. Это она.

— Кто?! — закричал Марк, вскакивая с постели, но уже знал ответ.

— Эйрена, твоя рабыня, — пожала Рыбка плечами, — хочет, чтобы ты ее полюбил. Ведь если ты полюбишь — ничто не изгонит ее из твоего сердца. Ни слово, ни слава, ни даже золото твоего кольца — ничто и никогда не вымоет из сердца белой любовной соли, стоит ее там просыпать.

И он, еще не веря рассудком, но уже принимая эти слова яростным и болящим

сердцем, повторил, как горное эхо повторяет самые глупые слова, как лепечущий младенец повторяет обрывки подслушанного гимна, как подхватывает наше сердце самый нелепый вымысел, если он заставляет его биться сильнее... повторил:

— Ничто и никогда не изгонит. Ничто. Никогда.

Любовники

Ровно через тысячу девятьсот девятнадцать лет на этом месте будет стоять небольшой домик: две спальни, общая комната, кухня. Ранним утром просыпаются двое на односпальной кровати — но если вам восемнадцать и если вы не собирались этой ночью размыкать объятий, совсем нетрудно будет поместиться. Да ведь они почти и не спали, Мира и Марко.

Где-то совсем рядом с домом безумствует соловей — он, кажется, едва ли спал этой ясной майской ночью, промытой недавними дождями и напоенной ароматами трав. Кто вообще спит в такие ночи? Тот, кому некого любить.

— Я сварю тебе кофе, — тянется Мира, и Марко снова проводит ладонью по ее позвоночнику, словно и не было этой жаркой и бесконечной ночи. Запомнить на всю армейскую службу каждую клеточку гибкого, прекрасного, родного тела. А душу — душу она откроет в письмах.

— Давай, — улыбается он, — кофе в постель мне теперь нескоро подадут.

Она уже хлопчет у старой газовой плиты, и даже неясно, что вкуснее — запах свежемолотого кофе пополам с запахом далматинской весны, или вид ее обнаженного тела, которым никогда, никогда не насытится Марко. И никогда его не забудет.

— А к кофе только немного козьего сыра осталось, и хлеб зачерствел, — как-то совсем без печали говорит Мира.

— А к кофе у меня ты. Лучший в мире десерт! — Он тоже поднялся, снова проводит пальцем по позвоночнику и чуть ниже.

— Ах, дурак, пусти, сбежит... вот и сбежал!

— Не весь же.

Кофе сбежал не весь. Но им уже не до кофе.

Когда они все-таки смогут оторваться друг от друга, выпьют остатки остывшего кофе припухшими губами, доедят сыр и хлеб, он будет долго плескаться перед умывальником, разгоняя водой морок весенней ночи. Надо возвращаться в большой мир.

— Все забываю спросить, — говорит он, вернувшись для начала за кухонный стол (она варит новую порцию кофе), — это ведь деда твоего фотография?

На снимке — седой улыбчивый человек с кривым шрамом через все лицо и смешинкой в глазах... в глазу, потому что глаз у него один. Странно, но он не выглядит ни уродом, ни инвалидом — больше похож на прищурившегося мальчишку, который еще и поседел почему-то, и короткую бороду отрастил.

— Деда. Лучшего на свете деда Макса!

— Он же... он же герой у тебя, да?

— Ой, я разве не рассказывала? — Она ставит перед ним новую чашечку кофе и

как будто только теперь замечает, что сама голышом, а он одет. — Подожди, хулиган, тут где-то было платье...

— Да ладно, чего я у тебя не видел? Останься так.

— Останусь так, ты не уйдешь никогда в эту свою армию. Впрочем, лучше и не уходи.

Но все-таки одевается, собирает роскошные светлые пряди, затягивает резинкой. И рассказывает:

— Это я в него светловолосая. Он, знаешь, с такой судьбой... К смерти приговаривали два раза. И все ничего.

— Он же вроде учитель у тебя был?

— Ученый! Профессор Белградского и Загребского университетов! Мировая знаменитость, специалист по шумерской и аккадской литературе! Ты что! Все профессора иностранные ему писали, сюда даже погостить приезжали.

— Как-то слишком много всего. Рассказывай по порядку.

— Ну, он много чего успел. На Первой мировой повоевать, за австрияков на Салоникском фронте, совсем еще мальчишкой. Получил там медаль какую-то, но он австрийскую никогда не надевал, — звание унтер-офицера. А когда совсем кисло у австрияков дела пошли, отказался в бой идти со своим батальоном... или что там у них было. И всех остальных подговорил. Мол, за что кровь проливать будем — тем более против них стояли сербы да русские, а у них в полку, считай, одни далматинские хорваты. Что это мы, говорит, братьев убивать будем? Ну, короче, судили, приговорили к расстрелу. Нет бы сразу расстрелять, а они хотели на заре перед строем... Он рассказывал, за ночь всю жизнь тогда наперед передумал: что главное — не сколько ты прожил, а как. И больше никогда уже ничего не боялся.

А утром, короче, перестрелка, «ура», и распахивается дверь его сарая — он думал, вот и расстрел, а там русский унтер такой же. Иван Акиндинов звали. Они с дедом тогда побратимами стали, всю жизнь переписывались — этот Иван потом в Черногории осел, на Боке, сюда часто приезжал погостить. Не вернулся в Россию, у них же революция была.

— А дед что?

— Ну, натуральное дело, поступил в Загребский университет, окончил с отличием, остался преподавать, все дела. Перед войной перевелся в Белградский, стал профессором по своим шумерам. А тут немцы. Ну, короче, он в Соппротивлении. Арестовали его. Он бежал, пробирался на юг, в родные места. В черногорских горах примкнул к партизанам. Летом сорок четвертого опять его схватили на какой-то облаве, уж не знаю, как сразу не прикончили — а только пытали страшно и бросили в концлагерь, тут, знаешь, на островке одном был.

— Знаю, — нетерпеливо отвечает Марко, — у меня тоже...

— И, короче, — Мира продолжает, — там на этом островке посреди моря была бы ему медленная верная смерть. Как и всем прочим. А только опять та же история.

Даже выстрелов не было, сами фашисты с места снялись — и вот лязгает решетка, распаивается дверь камеры, а там наши партизаны.

— И главного звали Бато, да? И опять побратимы?

— Откуда ты знаешь? — удивляется девушка.

— Так это ж дед мой. Я откуда сам Радомирович? По нему. Герой-партизан. Рассказывал он про этот остров.

— Ничо се... — Мира присаживается, — во дела... Ну так вот. После войны деда Макса чуть в третий раз не посадили, уже коммунисты. Он же в университет вернулся. Собрался там издавать свой главный труд — грамматику шумерского языка. И на первой странице посвящение на латыни: «Отцу Марку с любовью во Христе». Приходскому священнику своему, с нашего Острова! Представляешь? При коммунистах! В ранние титовские годы!

Марко аж присвистнул.

— Ну, он хоть и беспартийный, а его таскали всюду: сними, говорят, посвящение, не разводи тут поповщины. А он упрямый всегда был: или так, говорит, выйдет, или никак. Не было бы без отца Марка из меня шумеролога, а только шпана подзаборная. Ему говорят: ну, напиши просто имя и фамилию. А он: нет, так и только так, и с любовью, и во Христе, потому что он меня так в люди и вывел. Хотя сам дед в церковь, почитай, и не ходил.

И на собрание на это их приходит в парадном пиджаке с двумя своими орденами за партизанство. Вы, говорит, коммунисты? Так растолкуйте мне, вот как у Ленина на такой-то странице написано, а вот как у Маркса, а еще так, так и так. И где тут правильно? И чему верить? Они ни бэ, ни мэ. Срезал их, короче.

— Что, вышла книга?

— Вышла, конечно. С посвящением. В Вене через три года на немецком. А деда турнули отовсюду, он и уехал к нам на Остров школьным учителем. Говорил, нет выше задачи, чем помогать детям найти свой путь. Ну а в свободное время про шумеров своих писал. Библиотека от него осталась — тысячи книг, — так он университету все завещал. К нему потом приезжали из Белграда, просили вернуться. А он: я понял, что в жизни важны только три вещи. Первая — позволить себе быть счастливым. Вторая — найти того, кто тебя слышит. И третья — никогда ничего не бояться. Не вернусь я к вам, говорит, у меня все три тут.

— А кто его тут слышал?

— Ну, бабка София. Никто так его чутко не слушал, как она. И ученики за ним хвостом ходили, не все, конечно, но ему хватало. И вообще эти его шумерологи со всего мира. И я немножко... Жаль, я еще мелкая совсем была, как его не стало. Любила я его страшно.

Кофе выпит, сыр съеден. Но еще есть время до парома на материк, и девушка продолжает:

— Он ведь почему такой отвязный был и всегда веселый... Говорил, это от

Драги все. Прапрапрабабка какая-то, тоже светловолосая, кстати. Сербка она была откуда-то из Боснии. Ее там турки хотели изнасиловать, а она, знаешь, переделалась пацаном, мимо всех турок прошмыгнула и к нам на Остров. Семейное предание. А помог ей испанец один, но просто так помог, он не мой предок. Он был монах.

— У вас в роду все самые красивые девушки Балкан! — некстати делает комплимент Марко.

— Слушай, а твой героический дед Бато ведь из Черногории к нам приехал. Как твой-то дед черногорцем оказался? Он ведь Радомирович — с нашего Острова, значит?

— Мой дед, — строго отвечает Марко, — не черногорец, а югослав. И мой отец, и моя мама, и сам я — мы югославы. Кто его знает, почему его предки переселились под Цетинье... С австрийцами чего не поделили или другое что было — не знаю. А только вернулся он между двумя войнами, мой дед, на наш Остров. Здесь и похоронен.

Он не будет рассказывать, что другой его дед, Фридрих, был повешен по приговору народного трибунала как раз за тот проклятый остров-концлагерь. Мама велела намертво забыть про деда — и он забыл. Мало ли что бывает во время войны — спасала ли бабушка чью-то жизнь, взял ли ее Фридрих насильно, а только мама родилась дочерью югославского народа и всегда была только ею.

— У меня тоже красивое предание в роду есть, со стороны матери, — говорит он, — про наполеоновского солдата, который остался тут на Острове тоже школьным учителем. Хотел, говорят, свет в массы нести. И вообще предание какую-то чушь несет про то, что сам он вроде как с Острова родом, только у него кто-то там уехал во Францию, а он потом вернулся и остался. Врут, наверное, что с Острова. Еще говорят, он остался, потому что увидел, что французы с монастырем местным сделали. Они его не просто разорили — там церковка была с витражами, местный умелец сделал. По витражам они из мушкетов стреляли, все перебили. А в церкви потом склад устроили, она и сгорела. Тоже, может, неправда, но все же... А вот что точно — потом его правнук, мой двоюродный дед, был тут священником. Марком звали. Не тот ли самый отец Марк?

— Много Марков на свете, — пожимает плечами девушка, — а дед мне только могилу показывал. Того священника партизаны в сорок третьем убили по ошибке. Сочли предателем, он же всех принимал, и фашистов тоже. Бывало и такое в ту войну. А моя мама, знаешь, осиротела рано, так ее воспитывала дочь русского офицера — Вера Радомирович. Я ее бабушкой и зову. Домик-то ее вообще-то, она тут конобу держала, когда моложе была, — ну, к родителям тебя, понятное дело, на ночь не поведешь. В одной старой книжке я как-то читала: был бы ты сыном матери моей, я бы тебя, на улице встретив, целовала, привела бы под кров мой родной... Ну, как-то так. Вот баба Вера нас ипустила. Сама к подруге пошла ночевать. Супер у меня предки, да?

— Так, голова от родословий кругом идет, — Марко хлопает ладонью по столу, — лучше вот что посмотри. Подарок у меня для тебя. На прощание.

— Ой, а у меня для тебя!

Она бросается к тумбочке, он — к сумке, что брошена в углу. И через несколько секунд оба, не сговариваясь, разом протягивают друг другу раскрытые ладони. Подарки без упаковки — кто будет в восемнадцать замораживаться всеми этими бантиками и бумажками? Как их любовь, подарки неприкрыты и прекрасны. Голубые бусы и золотое кольцо с печатью.

— Ой какая прелесть! — девушка, как и положено, ахает первой, — откуда ты знал?

— Что? — удивляется он.

— У нас на Острове многие носят голубые бусы. Женщины постарше. Не знаю почему. Их называют «Мирины» — то есть мои.

— У тебя вообще странное имя, — кивает он.

— Ага, только на нашем Острове такое. Традиция. Не знаю откуда.

— Бусы-то примеришь? — прищуривается он.

— Конечно!

— Чур, голышом!

— Да ну тебя, дурак, — смеется она, а самой так приятно, что он ненасытен, — вот вернешься из своей дурацкой армии, я тебе все-все-все буду только голышом примерять! Три раза в день!

— Не меньше пяти.

— Ну, решим. А сейчас посмотрим, как идут к платью...

— А кольцо... что, неужели золотое? — спрашивает он запоздало.

— Позолоченное, — вздыхает она, — на золотое денежек бы не хватило... Ой, как классно! — Она уже перед зеркалом.

А он разглядывает печать на кольце. Ему так бы хотелось, чтобы на нем был ее профиль, чтобы носить его, не снимая, чтобы положить ее печатью на сердце, носить, как перстень на пальце. Хотя и нельзя в армии носить кольца, но может, как-нибудь?

А на печати — новый хорватский герб, щит с шашечками внутри и короной сверху. Это совсем не герб Социалистической республики Хорватия, к которому он привык.

— Мира... — он немного удивлен, — спасибо огромное, но... почему такой рисунок?

— Марко, ты же хорват! Вот чтобы ты всегда помнил об этом.

— Я югослав, — напоминает он, — и вообще, кольца в армии нельзя. Мне бы фото твое... Чтобы всегда с собой. Чтоб ты мне там спутницей была.

— ОК, фото пришлю обязательно. Ты бы сразу сказал, я б из дома взяла.

И еще, подумав чуть-чуть, она уточняет:

— Марко... Почему ты не хочешь называть себя хорватом? Ты же хорват!

— Ну да, мама отсюда, и вырос я в Загребе. Все так. Но я югослав. Смотри сама, мы нарасказывали друг другу историй, и все в них намешаны: хорваты, сербы, черногорцы, даже русские и французы какие-то, немцы, — ох, зря это он про немцев, — испанцы. Все побывали, все в кучу.

— Ну и что? А мы хорваты. Наши предки пришли сюда с Карпатских гор.

— ...и смешались с местными иллирийцами, с греками и римлянами, с венецианцами и турками. Со всеми, кто тут плавал и проходил.

— Я — светловолосая славянка! — гордо заявляет Мира. — Чистокровная, никаких греков и турок! Меня хоть в Польше за свою примут!

— Ты красавица, каких на свете нет. Особенно в бусах этих, — соглашается Марко, — но я ж о другом...

— А я, — в голосе Миры появляется металл, — ровно о том, что сейчас главное. Наша Родина борется за свое будущее.

— Наша Родина — Югославия, — уточняет Марко, — и я иду в Югославскую народную армию.

— Наша Родина — Хорватия, — металла становится все больше.

— Послушай, — волнуется Марко, ему это действительно важно, — на территории нашей республики живут сотни тысяч сербов. Их куда?

— Пусть станут хорватами, как прапрапра-, которая из Боснии.

— Но зачем? Почему нельзя жить просто там, где ты хочешь? Твой дед преподавал в Белграде...

— И его оттуда выгнали. Он никогда не забывал своей Родины!

— Он бы точно не согласился сейчас, Мира! Разве мы не братья — югославы? Разве не о том он говорил своим однополчанам под Салониками?

— Нет, Марко. Мы не братья. Мы, хорваты и словенцы, — католики. Мы принадлежим Европе. Сербы, черногорцы и македонцы — православные. Это другая цивилизация, пусть и языки похожи. Вместе с греками, болгарами, русскими. А мы — Европа, у нас другие ценности. Свобода, развитие, наука.

— Да что ты говоришь! Русский офицер твоего деда спас!

— И остался тут. Все, что есть в России хорошего, настоящего, европейского, — оно из Европы пришло и в Европу возвращается. А своего там только дикость, бесконечная деспотия и гнусное рабство, что при царе, что при Сталине.

— Мира, Мира, ты не права... Вот Горбачев... а ты что, католичка теперь? В церковь ходишь?

— Мы все и всегда были католиками, — отвечает она размеренно, — в церковь я пока не очень, но не в этом дело. В церкви — там просто все немного... несовременно. Раньше была у людей исповедь, теперь по-научному психотерапия,

раньше были посты — теперь всякие диеты. Но все равно церковь — это часть нашей нации. Никак иначе.

— Мирка, но слушай... Ну вот мы же только что с тобой... Попы это как назовут?

— А при чем тут это? — возмущается она, — я тебе о цивилизациях, о судьбах Родины, а у тебя опять одно на уме?

— Ну ладно, — примирительно отвечает парень, — ну пусть Хорватия. А вот Босния и Герцеговина? Что там? Там же все вперемешку: хорваты, сербы, боснийцы...

— Вот и поделим Боснию с сербами!

— Ага, так вам мусульмане-боснийцы это и дали сделать. Мира, будет кровь. Национализм — это большая кровь для Югославии. Опомнись. Это все американцы хотят разрушить нашу федерацию...

— Да при чем тут американцы, сдурел ты, что ли! — девушка сердится уже не на шутку, — и не будет никакой крови, если вы, если ваша эта дурацкая «народная армия» не начнет ее проливать! Какого она народа «народная» вся такая, ты не задумывался? Какого? Милошевич — серб! Ему нужна только «Великая Сербия»! Мы для него — колония! А кровь... Ведь по-турецки «бал» — это мед, а «кан» — это кровь. Балканы — край, текущий кровью и медом. Так было и так будет. Но не мы прольем кровь первыми на этот раз.

— Ну уж нет, — возмущается Марко, — скорее, наоборот. Кто в Белграде запрещает латиницу? А в Загребе кириллицу — запрещают! Книги изымают из библиотек! Уже и до того дошло, что свои войска хотят создавать! Да и кровь уже пролили, не знаешь разве — в Пакраце, на Плитвицких озерах...

Мира не будет рассказывать, что ее старший брат сейчас в Национальной гвардии Хорватии, она, правда, только что заявлена, ее еще предстоит создать. И с кем гвардии придется в случае чего воевать, более-менее понятно. И первая кровь — ее пока мало, пока даже не ясно, кто первым начал тогда стрелять. И то, что потом назовут началом Югославской войны, можно пока называть несчастным случаем или одиночным преступлением. Пока убитых единицы, даже еще не десятки.

— Скажи мне, Марко, — медленно и отдельно говорит она, глядя глаза в глаза, — если вам там, в армии, дадут приказ подавить нашу независимость — ты будешь в меня стрелять?

— Мира, Мирка, Мирица, любимая! — задыхается Марко, — что ты говоришь!

— Знай, любимый — она подчеркивает это слово, будто это титул, то ли «Императорское Величество», то ли, наоборот, «приговоренный к расстрелу», — знай, что каждый хорватский воин, каждый мирный житель, на которого, может быть, прикажут тебе поднять оружие, — это буду я. И кольцо — чтобы ты об этом не забывал.

Молчание повисает надолго — тягостное, злое молчание.

— Пойду я, пожалуй, — говорит Марко тускло и бегло, словно и не было этой ночи. И соловей за окнами смолк. И солнце светит в окна, и лежит за ними прекрасная и юная Далмация — югославская, хорватская, Божья.

— Иди, — отвечает она, — счастливо тебе.

— И тебе счастливо. Пиши.

И он уходит после легкого поцелуя, с легкой сумкой, с легким кольцом, зажатым в руке. И ладони его помнят каждый изгиб ее тела, и каждый изгиб ее тела помнит его ладони и уже умирает в тоске без них. И там, на пароме, канет кольцо в бирюзовую бездну, потому что и вправду в народную армию с таким нельзя. А здесь, на Острове, останутся бусы, но не будут они уже значить ничего, потому что говорят здесь о социализме, ионализме, о Хорватии и Югославии, о боях и победах. И что была здесь когда-то другая Суламифь, и что был здесь другой Марк, и что были у них свои слова друг для друга — всего этого больше никто уже не помнит, и не расскажет никто, никому, никогда.

Память пахнет ветром и травами, солью и солнцем. Растворится в воде соль и уйдет за весенние облака солнце, утихнет ветер, завянут травы — но вырастут снова. И не будет знать новая трава о траве прошлогодней. Но будет новая трава так же точно нуждаться в водах многих, и в солнце, и в ветре, и будет так же чахнуть от соли — как человек нуждается в любви и понимании и чахнет от гербов и флагов. И будет в Южной Далмации все, как было от века, и ничто в точности не повторится, и ничто не останется неповторенным, ибо крепка, как смерть, любовь, и любовь крепка, как смерть, и рука об руку ходят эти двое. И если есть на Земле край, где бывает иначе, значит, нам его еще не показали.

Столб. История прощения

Марк сразу же, без промедления вошел тогда в ее комнату — яростным, свежим, голодным. Она уже встала, но что-то замешкалась в комнате, которую делила с той же Рыбкой, — не вышла еще на свой ежеутренний труд. А он не спрашивал, он обвинял:

— Это ты. Рабыня, это ты взяла мое кольцо.

Глаза Марка сузились, словно он смотрел на вражеское войско на фоне утреннего солнца. На толпу варваров, которые вздумали тягаться с Римом, которым показалось, что у римлян можно что-то отнять или похитить. Им это лишь на миг показалось, и расплата будет страшной.

— Нет, господин! Зачем бы это мне? — Эйрена не столько испугалась, сколько изумилась обвинению. Она даже не отшатнулась, как, бывало, делала в ожидании пощечины, и надо признать, пощечин давно не было, он неразумно жалел строптивую.

— Ты, — он чеканил слова, как военные команды, — ты решила в своем безумии, в своем ослеплении, в отупении этих ваших суеверий... ты решила, будто ты похожа на нее. И стала ворожить.

— Я — на Спутницу? — ахнула она, — но я...

Это замешательство он принял за верный признак: девка виновна. Она захвачена врасплох, не подготовила оправдания... Еще поднажать — и она все расскажет.

— Верни ее, — голос был спокойным и ледяным, как там, среди батавских болот, когда только холодный металл приказа мог побороть другой, горячий металл и сберечь римские жизни. Пусть не все, но сберечь.

— Я... но это не я!

— Верни ее сама, и ты не будешь наказана. Более того, я обещал — ты получишь свободу. И золото. Тройной вес кольца.

— Кольца нет у меня, господин, и я не знаю о нем ничего!

— Ты готова поклясться перед ларами?

— Нам нельзя клясться, господин, тем более перед... твоими...

Она явно не знала, как назвать его домашних богов. Еще одно непокорство, еще одно оскорбление римского имени.

— Юст!

Крик разнесся по дому, крик того, кто привык повелевать центурией. И Юста не пришлось звать дважды. Он был хорошим управляющим.

— Рабов по закону допрашивают только под пыткой. Я хочу допросить эту рабыню. Приготовь плетель и привяжи ее к столбу.

— Плеть? Господин, ты же, наверное, захочешь ее после этого продать...

Марк даже не думал, что будет потом. Ярость, холодная, слепая ярость — вот и все, что он помнил и знал сейчас. А Юст продолжал:

— Плеть испортит кожу. Никто не даст настоящей цены за рабыню из-под плети. А так она стоит хороших денег... даже со шрамом на лице. Шрам — это может быть случайность, а шкура, порченная плетью, — печать строптивости.

Юст, конечно, думал не только о рабской шкуре. Как и в любом хозяйстве, был на дворе столб для порки, была и плеть... Да только никого не пороли тут последние лет десять. Кого было пороть, да и зачем? Что он, на словах не объяснит, а если надо — затрещины хорошей не отвесит? Все по-домашнему, мягко. Нет, конечно, молодой хозяин в своем праве, и столб на дворе врыт, и железное кольцо на его верхушке не совсем еще проржавело. Но только где плеть и есть ли она вообще, Юст и малейшего понятия не имел. Господин не предупредил его о таких замыслах.

Он даже не глядел на Эйрену. Не Эйрену, что имя — на вещь, которую он скоро продаст.

— И?

— Я нарежу прутьев, какими наказывают строптивых детей. Следы сойдут быстро, дней через десять ты легко сможешь ее продать.

Эйрена не плакала и не просила ни о чем, пока Марк тащил ее во двор, пока Дак и Черенок, пряча глаза, привязывали ее за руки к кольцу, пока срывали — после третьего приказа подряд, нерешительно и робко! — с нее одежду. Она вообще ничего не чувствовала, одеревенела, словно все это было страшным сном — или, напротив, страшным пробуждением после сна о доме, в котором к ней были так добры.

И лишь когда обнаженное тело пронзила боль, а за ней пришел и жгучий, невыносимый стыд — она голая посреди двора! — она запела. Нет, это не назовешь песней, эти обрывки слов вперемешку с криками, слезами, с болью и позором, со всхлипами и вздохами. Это не назовешь песнью. Но это была песнь.

И Марк понимал это безо всякого перевода. Песнь преданности и благодарности Тому, Кто пострадал безвинно за нее, а теперь дарует ей такое же страдание. Марк понимал это... и не мог остановиться. То ли ждал, когда эта странная молитва сменится мольбой о пощаде, то ли... то ли не мог наслушаться. Он ведь когда-то любил слушать ее пение.

А потом она просто охрипла.

— Отвязывай.

Марк бросил эти никчемные, истрепанные прутья на землю и зашагал прочь со двора — жадно, широко шагал, словно воду пил в жару. Но не мог напиться. Не было смысла во всем произошедшем, не было Спутницы, не было покоя.

У ворот его перехватил Филолог.

— Марк... Ты летишь, как Эриния...

— Что? — он встал как вкопанный, — не называй больше ее имени! Никогда!

— Имени? — Филолог расхохотался, — да ты и вправду безумствуешь! Эриния, по-вашему фурия, это же носительница божественной мести. И я бы сказал, что ты летишь покарать виновность, потому что невинность ты уже покарал.

— Какую невинность? — Марк, кажется, не очень хорошо понимал грека, и дело было не в языке, не в этой его манере подтрунивать надо всем, что дышит. А в ярости Марка. Ярости, которой не облегчило наказание. И еще меньше облегчит скорая продажа строптивой рабыни.

— Ну с чего, с чего ты взял, что та девчонка взяла кольцо? Тебе напела другая девчонка? Та, из твоей постели?

— Да.

— Неужто ты так слеп в делах Афродиты, Марк? Неужели тебе не ясно?

— Что? — сухие вопросы, как на войне, как там, где ярость имеет цену и кровь смывает усталость.

— Да все очень просто! Твоя наложница поняла, кто скоро займет ее место.

— Что?!

— Да, Марк, женщина видит это раньше мужчины. Она просто заметила, какими глазами ты смотришь на нее — и какими на другую. Она поняла твое сердце раньше, чем ты сам выслушал его. И она навела на соперницу поклеп. Только и всего.

— С чего ты взял? — возмутился Марк, — с чего ты взял?

— Марк, какие у нее глаза? Какого цвета глаза Эйрены?

— Серые, с легким оттенком голубизны, словно море ранним осенним вечером...

— А у меня, Марк?

Марк понятия не имел, какие глаза у Филолога. Кажется, карие? Он не хотел сейчас смотреть ему в лицо.

— Ты в плену этих глаз с того мига, как их увидел, и только слепой этого не заметил, Марк. Только слепой. Ты же бредишь ею наяву.

Марк молчал.

— Но главное тут — ярость, мой друг. Пусть твои наложницы смотрят на твою мужскую силу, я вижу твою слабость. Ты бьешь то, чего не можешь получить, Марк. Ты как ребенок.

— Ты лжешь, грек! — Марк прокричал эти слова в лицо, в отвратительную Сатарову харю этого пьяницы и словоплета, чье мужество давно растрчено на торговлю чужими рассказками, а ум пригоден лишь для нелепой болтовни.

И зашагал дальше.

Остров жил светлой, весенней жизнью. Мальчик вел по узкой тропе ослика, грузенного нехитрым крестьянским скарбом, и по дороге ругал его за какое-то давнее упрямство — не потому, что был зол, а просто не с кем было ему поболтать. Два рыбака шагали ему навстречу после предутреннего лова и он, должно быть, был удачным, судя по тому, как они шутили и не сразу даже заметили Марка. И воздух пах травами, и небо было прозрачно, и внутреннее озерцо лежало зеркалом в ладонях окрестных гор — и только Марк шагал яростно и грустно, словно Публий Квинтилий Вар^[96], впустую растерявший свои легионы в глухом германском лесу.

А что он, собственно, потерял? Что там напевал ему курчавый сатир? Не можешь получить? Какой же господин не может получить тела своей рабыни?

Нет, говорил он себе, нужно было не тело. Взять силой — это просто, это бывало там, в Батавии, и бывало не раз. Это часть войны. Но даже с Рыбкой ему нужно что-то большее и лучшее, ему нужно родное тепло, а не чужая боль. И он проиграл, там, у столба. Он не нашел своей Спутницы и, конечно, никогда уже не найдет. И тепла уже не будет.

А может быть, надо просто забыть о кольце? Кто сказал, что оно — по-прежнему его детский амулет? Кто внушил ему, что память о единственной женщине, которая его любила — память о маме, — возможна только рядом с кольцом? Разве не амулет для него — сам этот Остров, эти горы и воды, свет и воздух, ночное пение соловья и шелест дождя по крыше? Разве не может быть мамы — во всем этом?

Нет, не может, отвечал он сам себе. Нет ее ни в кольце, ни в природе, ни вообще в этом мире. И встретит ли он ее в мире ином, тоже никто не может сказать.

А вот они, христиане, уверены во всем. Они научились превращать боль в песнь, они говорят о вечности, как о собственной кладовке, где все расставлено по местам, только бери, что потребно. Они нашли какие-то главные слова для самих себя, их теперь невозможно победить. Их унижаешь — они пьют унижение, как воду. И если их казнить, они, верно, будут радоваться казни, как новой жизни.

Все бесполезно, Марк, девчонка любит не тебя, а своего Иисуса, кем бы он там ни был, и что бы ты ни сделал, это останется так. Зря ты ее обидел.

Разгорался долгий и чистый весенний день, как на заказ, как на праздник, и солнце плыло по небу от зенита к закату, и синели горы, и менял направление морской ветерок. Марк добрался до вершины ближайшего холма, где не было никого, кроме редких ящериц и множества птиц. И беседовал с ними о том, что Филолог опять оказался прав, а сам он не знает, как теперь жить. Впрочем, такое с ним случалось не впервые.

Это было еще там, на нижнем Рейне, в самом начале батавской войны. Он отдал неверный приказ своей центурии. Он слишком доверился собственной силе. Он послал их в ловушку.

И когда центурия втянулась походным порядком на чахлую дорогу, вернее, тропу между лесом и болотом, когда она изогнулась на повороте — справа, из леса, засвистели стрелы. А щиты, как известно, носят в левой руке.

«Черепаша!» — скомандовал бы он в чистом поле, и тренированные руки подняли бы щиты, построили спасительный заслон. Но какая черепаха на краю болота, в растянутой колонне?

— Лицом к лесу! — заорал он тогда.

И это была первая ошибка. Но он еще не понимал этого.

— Отступаем, командир? — спросил его легионер с проседью на висках. Он прослужил на Рейне лет двадцать, он знал все. А Марк его не послушал, и это была вторая ошибка.

— Наступаем! — заорал он снова, — наступаем на лес!

И эта вторая ошибка оказалась роковой. Строй был безнадежно переломан поворотом болотной тропы, и, углубляясь в лес, легионеры лишь дальше растягивали и рвали его. А со стороны болота засвистели другие стрелы, в спину — за кочками, на островках сухой земли скрывались тени.

— Отступаем, командир! — легионер с проседью кричал, это был не вопрос — это был уже призыв. И его подхватили другие голоса.

— Наступаем! — проревел Марк, — римляне всегда наступают!

И трубач-букцинатор трубил наступление, пока его горло не заткнула стрела со стороны болота, пока не смяла подошва варвара звонкий металл гнутой римской трубы. И легионеры повиновались. Они наступали. Только бой очень скоро превратился в побоище, побоище — в бегство, и бежали совсем не батавы.

Погибнуть Марку тогда не случилось. Или, как он думал на следующий день, не удалось. Только царапины. Он не бежал тогда первым, но и не был среди последних в бегстве, его несла толпа, бывшая прежде войском, его гнал беспомощный ужас.

Последних, самых стойких, добили батавы, или, что еще хуже, утащили к себе живыми.

Из центурии полегла треть, даже больше. И когда там, на сухом берегу, уже перед самым лагерем, уже под прикрытием четвертой центурии, которую пришлось срывать из лагеря срочным приказом, они отдышались, перевязали раны, выстроились и пересчитались, — Марк понял, что его центурионство закончено позорным провалом. Но это не очень волновало его — страшнее было видеть перетянутые тряпками обрубки рук, залитые кровью лица. Страшнее было знать, что не меньше десяти раненных у батавов — и мучительно было даже представить, какой умирают они смертью прямо сейчас.

Марк встал перед строем, медленно снял центурионов шлем, а потом опустил на левое колено и нагнул голову. Нет, остатки центурии были слишком изнурены и слишком рады, что живы, — они не подняли его на мечи, как бывает с командирами, пролившими слишком много ненужной римской крови. Нет, он оставался командиром. Но он уже не знал зачем.

— Квириты^[97], — сказал он глухо, — я дал неверный приказ. Простите.

Это было немыслимо, этого не могло случиться нигде и никогда — центурион на колене перед центурией, со склоненной шеей в знак того, что любой может ударить мечом. Но никто не ударил.

— Встань, командир, — сказал тихий голос, и он узнал его. По счастью, тот, с седыми висками, уцелел в свалке. И Марк встал. Больше он никогда не говорил об этом со своими воинами.

Через два дня, когда царапины его стали заживать, а центурия стояла на отдыхе и переформировании, его вызвал легат легиона, седовласое и неприступное божество.

— Это лишь отчасти твоя вина, — сказал он, — нас опять предали союзники, ауксиларии. Они должны были провести разведку. Все остальное ты понимаешь сам. Принимать бой на условиях противника — значит даровать ему победу. Ты должен был сделать что угодно, но только не то, чего они ожидали, к чему готовились. И я еще раз разберу с центурионами тактику отступления при засаде.

Но сначала другое. Я был готов снять тебя с центурии и отправить обратно в Рим. Здесь не нужны дерзкие мальчишки из родовитых семей, здесь нужны воины. В лесу ты был таким мальчишкой. Когда ты извинился перед теми, кого чуть не погубил, — ты стал воином. Теперь центурия — твоя, и я буду знать, что нет для нее надежней командира. Но помни, — добавил он, — такое можно делать только один раз в жизни. Только один. Подставишь им шею еще один раз — будешь ими убит. Иди.

Марк запомнил...

Марк вернулся в свой далматинский дом на закате, когда косые лучи солнца высвечивают каждую неровность на каждой стене и мир становится сложным и рельефным перед тем, как погрузиться в ночную черноту.

Шуламит спала на своей подстилке, свернувшись калачиком под обрывками того, что еще утром было ее одеждой, — или не спала... Нет, не спала. Она даже не встала, завидев входящего господина, а только сжалась, ожидая новых побоев, нового позора, и сухие глаза смотрели в пространство с отчаянным упрямством. И косые, скупые лучи вечернего солнца проникали в эту каморку через внутренний двор — может быть, только в эти полчаса в сутки заглядывало сюда солнце. Сейчас оно высветило ее профиль, он был золотым, и он был профилем Спутницы.

И сколько ни пытался Марк вспомнить другое лицо — то, которое было на кольце, — он видел только этот солнечный облик, залитый светом, безнадежностью и ожиданием боли. А в голове стучала фраза из недавнего разговора: «Если не сейчас, то когда?»

И тогда Марк сделал то, чего было делать нельзя. Немыслимое, невозможное, непонятное. Он опустился на левое колено, склонил голову и сказал:

— Я был жесток и несправедлив к тебе, Эйрена-Шуламит. Прости меня. Твой — победил. Я отпускаю тебя. Ты свободна. Ты свободна. Ты свободна.

А она... она протянула к нему слабые, полудетские руки и улыбнулась, впервые

с тех пор, как стала рабыней. Улыбнулась, рассыпав светлые волосы, вся в солнце и прожитой боли, и даже шрам на щеке светился счастьем. И сказала хрипло, сорванным голосом:

— Мой... мой господин.

А дальше... Он бережно нес ее на руках в свою комнату, а по щекам его текли слезы, впервые с тех пор, как он стал называть себя мужчиной. И понимал он только одно: никуда и никогда он ее теперь не отпустит.

Ровно через тысячу шестьсот... или тысячу семьсот... А впрочем, к чему нам такая точность? Через тысячу с чем-то лет нашей эры где-то на Острове, где-то в нашей Вселенной будут — и возможно, неоднократно — беседовать двое. И читатель, конечно, понимает, что его будут звать Марко Радомирович, а ее как-нибудь еще: Эйрена, Ирина, Мира. А вот имя Суламифь, пожалуй, будет уже перебором. Но разве это так важно, какие у них имена?

Их двое: мужчина и женщина. Нет, они не любовники и не собираются ими быть. И кажется, не родственники в том смысле, чтобы знать им своих общих предков. А ведь в том или ином колене родственны вообще все люди, если верить Библии. Если же верить генетикам двадцать первого века — вообще все живые существа, включая одноклеточных.

Итак, их двое. Он занят делом, он работает в своей мастерской, а она... ну, допустим, она приносит ему поесть — какой же нам еще изобрести невинный повод для визита порядочной женщины к одинокому мужчине? Полуфабрикаты и микроволновки изобретут еще не скоро, так надо же ему чем-то питаться, пока он готовит этот витраж.

Да, именно витраж. И пусть он сам объяснит почему. А пока что он возится с цветными стеклышками — смотрит на свет, сравнивает оттенки. При изготовлении витражей самое сложное — добиться правильного, чистого, равномерного цвета. Некоторые даже пытаются красить стекло краской, но это, конечно, подделка, на такое он не пойдет. Часть стекол он заказал из самой Венеции, с острова Мурано. Но оттуда много не навезешь, и вот он сам экспериментирует с разными добавками...

А пока возится — читает на память испанские стихи:

— No me mueve, mi Dios, para quererte...

Он часто что-то читает себе сам, чтобы скрасить время работы, ведь радио и всякие прочие фоновые шумы изобретут еще нескоро. Приходится много помнить самому.

Она входит и даже не здоровается, чтобы не мешать таинству стиха. Просто ставит свою корзинку с большой глиняной миской, кувшинчиком и краюхой хлеба на угол стола, а он, кивнув, сначала дочитывает стихи с особой выразительностью. Ведь всегда особенно приятно, когда есть слушатель.

Ему за шестьдесят, он седой, на вид хмурый, и нет, наверное, все-таки он без шрама — лишние повторы лишь испортят наше повествование. Просто мужчина на грани старости, в простой рабочей одежде. Ей вдвое меньше, она ничем не примечательная вдова, тоже в чем-то затрапезном. Самые простецкие люди.

— Здравствуй, Мастер. — Она-таки дождалась последней строчки. Говорит она на том языке, который позднее назовут сербскохорватским.

— Здравствуй, Мاستерица, — улыбается он в ответ.

— Скажешь тоже, — фыркает она, — обыкновенная похлебка из овощей. И

немного сквашенного молока. Тут все такое готовят.

— Так я не о том, — отвечает он, — я творю мертвое, а ты — живое. Мальчишка и девчонка — разве этого мало?

— Инну, — комплимент кажется ей неожиданным, — и в этом вроде диковинки нет...

— А ты постарайся вырастить их такими, чтобы была, — отвечает он, — чтобы не как у всех.

— Сложно им будет жить, если не как у всех, — отвечает она, — вот тебе же сложно было?

— Мне? Просто. Интересно и просто. Интересно быть созидателем, а новых людей точно творить интересней, чем новое стекло.

— А на каком ты читал языке? — она хочет сменить тему, ей не нравятся эти заходы про «творить новых людей». На что это он намекает, она честная вдова!

— На том языке, на котором и были написаны эти чудные строки. Хочешь, прочитаю на нашем?

Он все-таки отложил свои стеклышки и заглянул в корзинку. Развязал покрытую чистой тряпочкой миску, вдохнул:

— Ммм, как вкусно! Благодарю тебя.

— Надо же чем-то кормить человека, который создает нам красоту. Так что за стихи?

— А, стихи... Знаешь, их написал лет сто назад один испанский монах, его звали Йован, а по-своему Хуан. Он лет сколько-то назад твою прапрапра знаменитую от турок спас.

— Драгану, что ли? Сербку ту лихую, что коней останавливала?

— Конечно. Вывез ее под полой своего балахона из турецких земель. И влюбился, знаешь, страшно. Каждый вечер отходил ко сну с ее именем на устах вместо положенной молитвы, каждое утро просыпался с ее образом перед глазами вместо Пречистой Девы. Сна и покоя лишился.

— Так ведь он был монах... А Драгана потом вышла замуж за...

— Он был мужчина. И потом уже только монах. И вот задумался он крепко: кого он больше любит: Драгану или Господа?

— А не кощунство так спрашивать?

— Людей — кощунство. А Самого Господа Бога — честность.

— И что Господь ему ответил?

— А сам, сказал, смотри. Я, что ли, говорит, против, чтобы вы плодились и размножались? Читал, поди, в Книге? Ты Меня вообще-то на самом деле любишь, говорит, или тебе просто так сказали? Или привычка, или страх остаться совсем одному, или еще что там, не знаю?

— Так прямо и сказал ему Господь? — ахает Мира.

— Конечно, прямо так и ответил. Ну, или предание так говорит. И задумался он крепко: а правда ли любит он Господа нашего или это морок, сонное видение, привычка? И сочинил стихи о своей любви. Ты послушай перевод.

Ты мной любим, Господь, не по причине,
Что в рай стремлюсь к обещанным наградам,
Не по причине страха перед адом,
Где платятся обидчики святыни,
Но оттого, что вижу я доньше
Тебя приговоренным и распятым,
И тело вижу, отданное катам,
И смертный пот, и труп на крестовине.
И мне любить завещано от Бога,
Не будь награды, с той же самой силой,
Не будь расплаты, с тою же виною.
Такой любви не надобно залога,
И если бы надежду погасило,
Моя любовь не стала бы иною. [\[98\]](#)

Мастер Марко читает стихи вдохновенно, ведь во всей Вселенной только он один знает, кто автор и как возник этот сонет. Имя автора так и затеряется в веках, и даже датировка будет принята другая, чуть более поздняя — начало XVII века. Но что мешает нам допустить: стихотворение лишь в Испанию попало в этом самом веке, а написано было в предыдущем и на нашем Острове. Мы в нашем повествовании сделали уже столько допущений!

— Красиво, — кивает Мастерница Мира, — почти как твои стеклышки. А я вот, кстати, спросить хотела... Почему именно стекла?

— Витражи.

— Почему витражи? Так здорово некоторые красками по штукатурке рисуют...

— Фрески.

— Вот. Почему витражи, а не фрески?

— Потому, — с улыбкой отвечает Мастер Марко, — что они пропускают свет. Фрески и иконы его принимают и отражают.

А сквозь стекло свет проходит. Еще и апостол писал: мы ныне видим свет, как сквозь стекло... Чистый, солнечный свет нам не по силам — ослепнем. Отраженный — это уже не то. А вот окрасить Свет Божий своим искусством, чтобы в нем разглядеть нам лица и позы...

— А когда света нет? Ночью или в бурю? Ведь не видно же. Впрочем, ладно. Вот камень — он простоит века. А стекляшки твои расплавятся при любом пожаре. Любой лихой человек палкой перебьет шутя...

— Господь умеет отпускать Свои творения. Например, свет. И нам стоит этому поучиться. Иногда важнее создать, чем сохранить. Может быть, все ради того мига, когда я завершу свой труд. И если в следующую ночь пожар или нашествие — я-то труд свой уже завершил. И отпустил в мир.

— А он во зле лежит... — задумчиво говорит Мастерница Мира.

— Но в нем стало чуть больше добра и красоты.

— А теперь кого изображаешь? Господь наш Иисус уже есть, и Пречистая Дева, и пророки с евангелистами, пусть не все... На последнее окно — кого?

— Святую Суламифь.

— Ко-го?!

— Ну, нашу Ирину-на-Острове. Местную святую.

— Да ты что! — Мастерница всплескивает руками, — монахи с попами сказали, не было такой святой! Мы, конечно, помним, и бусы голубые девушки носят в рощу перед самой Троицей, и венки плетут, только это ведь так, по-народному... Была ли та Суламифь вообще?

— В Библии есть книга такая. Песнь Песней. О любви. Там она точно была.

— Так что это, про нашу — на Острове? В самой Библии? Да не может быть!

— Не может, конечно, — смеется Мастер, — а только если спросят — скажу, святая Суламифь. И точка. Возлюбленная царя Соломона, он к ней неузнанным приходил. А у ног ее будет коленопреклоненный прекрасный юноша.

— Соломон? — догадывается Мастерница.

— Соломон, — кивает Мастер, — или тот центурион из предания про нашу Ирину-на-Острове. Говорят же, она все вытерпела, к вере его самого привела.

— Или не привела, — раздумчиво отвечает Мира, — так тоже рассказывают. Замучал он ее.

— Или не привела. Или вообще их не было — таких, как в предании.

— Как это не было? — возмущается она. — Зачем же ты их тогда изображаешь?

— Имена меняются. Множество есть на свете языков, и на каждом из них рассказывают множество историй. И каждая говорит больше о рассказчике, чем о герое. Множество имен и слов, и каждое в каждом устах звучит по-своему. А свет один.

Она молча смотрит. Она знает, что он объяснит загадку, просто не сразу. Давно они дружат.

— Вот смотри. — Мастер берет в руки цветное стеклышко, смотрит на небо. — Вот он чистый цвет небесный, лазурь, что твоя Адриатика погожим днем. А вот другое стеклышко — нежно-зеленый, как молодые побеги. Или третье — серебристый, что чешуя рыбы. А свет на небе один.

— И что? — не понимает она.

— А просто была она, Суламифь. И в жизни царя Соломона, и у центуриона того была. И в моей жизни тоже. Все истории похожи. И люди путаются в них, говорят о себе — называют древние имена. Разные цвета, разные истории.

— Ты вот о своей не рассказывал, — качает она головой.

— А как тут расскажешь? Соломон лучше сказал... Как прекрасна ты, милая, как прекрасна! Как голубки, глаза твои под покрывалом, волосы — что стадо черных коз, сбегających с гор Галаада... Губы твои словно алая лента, а щеки — половинки граната. Груды твои — что два олененка или двойня газели, пасутся они среди лилий...

— Марко! — строго обрывает она его, — негоже так о святых! Ишь удумал! Оленята у нее там пасутся!

— Это не я, это Соломон, — смеется он в ответ, — не веришь, в Библии прочти.

— На латыни твоя эта Библия, на ней читать я не умею, — Мастерница машет руками, — а только муж покойник мне похожее говорил, как сватался. Тоже, что ли, начитался?

— Вот это и изобразим на стекле, — тихо говорит Марко, — как прекрасна святая Суламифь, вечная наша Возлюбленная. Вера, надежда и любовь — трое их, и всегда они вместе, но больше прочих любовь.

— Мужчи-и-ины, — тянет Мира, — все-то вы о своем. Уж старость на пороге, а вы об этом. Два олененка, удумают тоже... А парни молодые будут приходить да книгу твою витражную читать как по-писаному — про, прости Господи, титьки. Постеснялся бы Бога!

— А может, мы и пишем книгу для Бога? — неожиданно отвечает Марко, — может, каждый из нас — цветное стеклышко в руках Великого Мастера? И мы можем лишь пропускать его свет, чуть-чуть собой окрасив. И все эти судьбы: царя Соломона, Суламифи, Ирины-на-Острове, того центуриона, моя и твоя — это просто части одной большой мозаики? И Господь вставляет нас в ажурные свинцовые переплеты, а сначала осторожно отпиливает лишнее, шлифует острые края и нет-нет да и спросит: любишь ли ты Меня, стеклышко? Готово ли лечь в мой узор, не сознавая пока что замысла, не видя целой картины? Если нет — Я тебя отпускаю. А если да — тоже отпущу, но сначала поставлю в рамку частью Моего узора.

Мира молчит. Красиво сказал Мастер, почти как тот древний монах. Что тут ответишь?

— Думаешь, прямо Сам Господь? — спрашивает она, погода немного.

— Не знаю. А может, кто-то сейчас составляет мозаику, большое такое полотно. Или пишет книгу, где мы с тобой — часть повествования, второстепенная притом часть. Книгу о чем-то важном и большом — например, о Суламифи и центурионе, а значит, о себе и своей любви. Чтобы все это прочел Бог, а если повезет — еще кто-то из людей, пока пожары не расплавили стекла и лихие люди их не перебили. Но прежде всего — просто для себя. Представляешь?

— А мы что же? Просто пропускаем свет? Когда не темно? И только?

— Разве этого мало?

Обед, кажется, остыл, но это его не заботит.

— Поешь со мной? — как обычно, спрашивает он. И она, как обычно, отказывается, помотав головой. Он берет ложку, сдвигает с края стола свои стеклышки, присаживается. Потом встает, кряхтит по-стариковски, отходит в угол комнаты, достает бутылку в оплетке и два стакана. Наливает один до краев, другой наполовину желтым домашним вином. Половинный ставит перед ней, уже ничего не спрашивая, полный забирает себе.

Она и не возражает ничего, благодарно берет стакан — видно, что эти двое давно отработали свой вечерний ритуал. Понемногу отпивает.

— А тебе не обидно? — спрашивает она.

Он лишь удивленно вскидывает брови.

— Быть просто страницей чужой книги, — поясняет она, — стеклышком в чужом витраже. Быть чьей-то фантазией.

— По-моему, это и значит быть собой, — он пожимает плечами, — созидать. И быть частью Великого Созидания. Лучше всего быть прозрачным, по-моему. Только редко удается.

Она задумывается, отпивая маленькими глоточками вино. Ей нравится говорить с ним, он не похож на остальных, которые вечно торопятся и чего-то от нее хотят. И самое главное — он ценит ее труд матери и хозяйки не ниже своего. А такого с ней еще не бывало. Что такое растить новых людей? Пеленки, сопلي, горшки и кастрюли, все это старание пропадает в никуда и забывается на следующее утро. А потом вырастают новые люди и уходят в большой какой-то мир, и приходится их отпускать — другими, чем хотелось бы тебе, и куда дальше, чем думалось прежде. Отпускать, всегда отпускать.

— Пропускать, — говорит он словно ей в ответ, — пропускать свет. И только.

— Однажды исчезнут из памяти наши имена, — отвечает она невпопад, — погибнут твои витражи, рухнут церкви, сгорят дома. Забудутся имена великих святых, их истории искажат до неузнаваемости. Что останется тогда? И к чему оно нынче было?

— Свет, — отвечает он, — останется свет. Пропущенный нами свет навсегда останется нашим.

Эта книга пахнет ветром и травами, солью и солнцем. Бирюзовая волна Адриатики набегает на один и тот же берег, и будет набегать, пока существует Южная Далмация. А на берегу будут создаваться и рушиться республики и царства, виллы и аббатства, и что еще важнее — человеческие судьбы. И все будет повторяться вновь, и ничто в точности не повторится. И будут витражи пропускать свет, пока не пробьет их мушкетная пуля, не расплавит пожар, не обрушит время (впрочем, лучше времени справится человек) — и погибнет стекло, забудутся имена,

но останется свет. И будет неизменно голодной и бедной любовь, но ни на Острове, нигде еще во Вселенной не показали нам пиршества желанней и обильней, чем за ее скудным столом. И будет снова вечер, и будет утро — день первый.

Спутница. История утраты

Утро, промытое ночным дождем, было ясным до доньшка, до хрустального звона, до капель росы на каждой травине и до слез, которым вчера не давала высохнуть ее рука — она, это она утирала его слезинки. Ее рука. Марк плакал впервые с тех пор, как иссыкли его глаза на материнских похоронах, — было ему тогда двенадцать лет. Навсегда высохли, думал он. А этой ночью — своими слезами омывал ее боль, ее стыд, как вином и елеем — ее раны. И не мог перестать.

Когда он проснулся, ее не было рядом, но Марк не беспокоился. Мало ли что нужно сделать женщине, — нет, не рабыне, а свободной женщине, которую он отпустил и так навсегда сделал своей, — таким хрустальным и солнечным утром? К тому же рядом, на постели, лежали голубые бусы — она никогда не расставалась с ними, может быть, снимала лишь на ночь. И значит, они несли ему весточку от нее: «я доверяю тебе, я с тобой, твоя постель отныне — моя постель».

Та прошедшая ночь...

Марк с хрустом потянулся на постели — жизнь его оказалась такой же промытой и ясной, как мир вокруг, и стройной, гибкой, сильной, как это выпавшееся тело. А все батавы и легаты, все императоры и форумы были просто разминкой, просто преддверием, просто сном накануне настоящего счастья. Он потерял свою Спутницу много-много лет назад — и вчера нашел ее. И никуда теперь не отпустит.

Ведь все, на самом деле, сложилось очень хорошо, правильно, честно. Он не бросил свой легион — это его бросил император. Он, Марк, честно служил Риму, пока он был Риму нужен. А теперь у него есть целый Остров для счастья, и никто не может его отнять.

— Островитяне, — бормотал спросонья Марк, — мы часто думаем, что мы острова. Но никто из людей не остров. Мы все островитяне.

Марк Аквиллий Корвин. Корвин — это значит «Вороний», и уже трудно вспомнить, когда и почему ему дали именно это прозвище. Черные ли волосы, как вороново крыло, или повадкой был на ворона похож, или просто нравилась отцу эта птица. .. Так все и звали. Так и жил хищным вороном. Клевал, рвал когтями. Жил в чужих гнездах.

Он сменит теперь имя. И каким он станет через год-другой на этом острове шалфея, соли и меда? Он будет владыкой своего Острова и назовется... Максимом. Да, Величайшим — никого не будет на Острове важнее, сильнее, главнее него. А остальное неважно. Рим пусть обойдется без него. Он — господин своей жизни. В ней он будет теперь главным.

Да, он даст сам себе новое прозвание, Максим, какое дают только великим победителям — он сумел победить самого себя. А если... а если ей захочется, он, пожалуй, выберет и другое новое имя. Да хоть Симон, на здоровье. Симон — это ведь был человек, который просто решил быть собой, подходит и Марку.

Женитьба... Разумеется, отец ни за что не согласится расторгнуть прежнюю помолвку и принять в невестки Эйрену. Но зачем обязательно связывать себя браком? Никто не воспрепятствует их счастью здесь и сейчас, а тот далекий римский брак... да зачем он, на самом деле, нужен! Сейчас, когда Аквиллии близки к опале, никто не будет настаивать на связи с ними. Все как-нибудь устроится с той помолвкой.

И к тому же, вспоминал Марк, если свободная женщина проживет год хозяйкой в его доме, она становится его женой по тому же праву, по которому приобретается в собственность вещь после года открытого и беспрепятственного пользования. И так при желании можно даже не спрашивать отца, поставить потом в известность — надо будет только уточнить у тех, кто разбирается, как все это правильно оформить, начиная с манумиссии^[99]. Юст пусть пригласит на Остров какого-нибудь знатока законов.

Впрочем, все это потом. А сейчас — короткая прогулка до берега, купание в холодном и бодрящем море и завтрак, радостный завтрак бесконечного весеннего дня, который ему теперь предстоит прожить вдвоем со своей любимой.

Но еще прежде моря он решил заглянуть в комнату, где она раньше спала вместе с Рыбкой, — вдруг она там. На пороге столкнулся с Рыбкой — та лишь пробормотала привычное «Сальве», опустив глаза. Вот уж не ожидала такого исхода.

— Думаешь, накажу тебя за клевету? — усмехнулся Марк. — Зачем, когда ты сама себя наказала? Где, кстати, та... кого скоро назовешь хозяйкой?

Рыбка вскинула изумленный взгляд и тут же снова опустила.

— Где Эйрена?

— Я... не знаю, господин, она не ночевала здесь.

Да, пожалуй, теперь придется прикупить еще одну рабыню. Кто-то должен заниматься уборкой дома и ухаживать за самой Эйреной. А Рыбку — Рыбку оставим на кухне, готовит она хорошо. И пусть всегда подает Эйрене, это лучшее наказание для наглой вруньи.

Марк вышел в сад, там ковырялся Черенок — самое теперь время для посадок. Даже не сразу заметил господина, пришлось его окликнуть:

— Эй!

Он подбежал, впрочем, не суетливо, склонил голову. Наконец-то выучился рабству.

— Как там в этой вашей книге... про красоту возлюбленной?

— Про Шуламит?

— Да, да. Как?

Он чуточку медлит, не зная, какие строки выбрать к этому случаю. А потом читает нараспев по-гречески:

Милая моя, ты прекрасна, как Иерусалим,
Грозна, как полки под знаменами.
Твои волосы, как стадо черных коз,
Что спускается с гор Галаадских.
Зубы твои белы, как стадо овец,
Что выходят из купальни в пору стрижки.
Щеки твои рдеют сквозь покрывало,
Как половинки граната...

— Именно так, — нетерпеливо соглашается Марк, — Именно так.

А раб Черенок — левит, сын левита, брат своего брата, правнук Авраама, Исаака и Иакова — левит Элеазар продолжает:

— Шестьдесят есть цариц,
восемьдесят наложниц
А девушкам и вовсе нет числа...
Но одна у меня ненаглядная голубка,
У мамы единственная дочка,
Для матери ясный свет.

— Как точно и как верно! И там еще было про любовь. Что не залить ее водам многим. И что сильна она, как смерть. Так где же она?

— Кто, господин?

— Та, о ком эти стихи.

Иудей улыбается не губами и не глазами — всем своим обликом, даже натруженные руки прижимает к груди.

— Добрая весть, господин. Какая добрая весть! Нет, я не видел сестры моей Шуламит. Она не заходила нынче в сад.

Марку было бы достаточно развернуться и уйти, но сегодня он даст высказаться и рабу. Ему же не терпится, ему только дай поговорить.

— И что еще?

— Грозна она, как полки под знаменами. Страшна, господин мой, любовь. Страшна и прекрасна. Желаю тебе победы.

— Я уже победил.

— ...над собой, мой господин. Ибо прекрасна твоя возлюбленная, как Иерусалим, и ее тоже можно разрушить.

— Хорошие стихи, Лазарь, — отвечает Марк, — ведь твое прежнее имя Лазарь?

— Благодарю, господин. Так и есть.

Марк идет дальше, к морю, улыбается по дороге девчоночкам Стряпухи,

которые тащат какую-то раннюю зелень на кухню — верно, в приправы. Надо все-таки спросить, как их зовут.

Он бурно и весело окунается в холодные весенние воды, чтобы смыть, наконец-то смыть всю усталость и грязь прошлой жизни, чтобы утро застало его омытым и обновленным, чтобы пахнуть для нее солью и ранним солнцем, как пахнет сама любовь.

Все, кажется, сохраняется прежним в этом мире — только мир стал иным, прекрасным и юным. Пахнет все так же ветром и травами Адриатика, светлеют и расступаются горы, выше поднимается небо и пригревает почти по-летнему солнце, и Марк счастлив, молод, любим.

Он возвращается к завтраку (подает Рыбка), и перебрасывается шутками с Филологом — глаза у того действительно карие и довольно зоркие. Хотя он прав, тут только слепой не заметит. Только сам Марк — он один и был слеп.

И еще обсуждает с Юстом, какие перемены нужно будет сделать в доме, какую комнату отвести Эйрене, как украсить и обставить. Для этого даже не нужно спрашивать ее саму, она ведь выросла в небогатом доме и не знает, как должна выглядеть настоящая вилла. И к тому же пусть этот подарок будет неожиданностью для нее! Все потребное можно заказать из Эпидавра.

Марк ждет ее еще час, и другой, и третий. Начинает беспокоиться, но никто во всем доме не видел, как и когда она вышла, не знает, куда могла пойти. После полудня отправляет на поиски всех, кто только есть в его доме, и шлет весточку Луцию.

Он ждет ее до вечера, и еще до утра, и выходит на поиски снова, и снова ждет, и назначает награду для того, кто найдет живой или мертвой его любовь. И будет утро, и вечер, и еще утро, и много, много пустых дней. Он ее больше никогда не увидит.

И только море, солнце, ветер и травы будут прежними и прекрасными. Только они.

* * *

Что случилось с Шуламит, с Эйреной, с Суламифью, — так никто никогда и не узнал. Одни говорили, что она бежала с Острова, а вернее, не бежала, а просто оставила его, ведь господин отпустил ее на свободу, хотя и не оформил манумиссию должным юридическим образом. Поговаривали даже, что в этом деле ей помог Луций, но он яростно отрицал свое участие. Зная характер этого честного вояки, нет сомнений, что он говорил правду. Скорее, можно было бы подозревать участие влюбленного в нее Висеволда, или же Лазаря, считавшего ее своей соплеменницей, но не очень понятно, как могли бы они подстроить такое бегство.

Но главный вопрос даже не в том, кто мог бы помочь ей исчезнуть. Никто из нас не остров, и к кому бы она пошла в мире, где каждый кому-то принадлежит: раб — своему господину, вольноотпущенник — своему патрону, варвар — своему

племени, а римлянин — Риму? Одинокaя девушка на берегу — слишком легкая добыча для многих. И если искать следы Шуламит на материке, то разве что в христианских общинах — только они могли ее приютить, дать ей кров и защиту. Но Алексамен впоследствии утверждал, что ничего не знает о ее исчезновении и очень им опечален.

Другие утверждали, что Шуламит совершила самоубийство, бросилась в море, не вынеся позора и не желая становиться наложницей своего бывшего господина. Но это как-то не в характере нашей героини. Да и не скажешь, чтобы Марк был ей противен или безразличен.

Третьи предлагали совсем простую версию. Был над морем неподалеку от виллы Аквилеев крутой обрыв, и не было на Острове места, где восходы прекрасней. Зимние дожди и бури подтачивали берег, и в ту ночь половина обрыва рухнула в море. Вполне возможно, — говорили, — что Эйрена вышла на берег встретить гимном появление Солнца и стала жертвой несчастного случая.

Были и такие, кто рассказывал, будто ее взяли живьем на небо ангелы, потому что нечего было ей больше делать на Земле. Но это почти то же самое, что сказать: автор книги пытался придумать сюжет, при котором не станет Эйрена любовницей Марка, или не будет Церковь частью империи — но так и не смог. И позвал себе ангелов на помощь. Поэтому оставим ангелов миру, которому они принадлежат.

Наконец, совершенно непонятно, почему оставила Эйрена Марку свои бусы. Кажется, она его все же любила. И бусы были для нее воплощением материнской любви — может быть, она просто хотела подарить их Марку вместо утраченной Спутницы. Или, что еще проще, выходя прогуляться во двор, не захотела беспокоить его, забирать бусы из постели — ведь она думала, что скоро к нему возвратится.

Как бы то ни было, Марк свою Суламифь больше никогда не увидел. И даже если бы он встретил ее, живую, вновь, спустя много лет... Сломать и потом сложить, чтоб половинки совпали через годы, — так поступают лишь с мертвым. Живое всегда зарастает по-своему.

Марк Аквилый Корвин отправился в Рим через два месяца по вызову отца на собственную свадьбу и больше никогда не приезжал на Остров, а после смерти отца продал его за полцены первому же покупателю. Он прожил долгую, хорошую, славную жизнь, дважды был женат, оставил троих сыновей и двух дочерей, но память об этих событиях он сохранил до самого конца своих дней. Он верно служил Риму, а по отношению к новоявленному суеверию христиан проявлял, по мнению многих, недопустимую слабость.

На самом деле он просто бывал всегда справедлив и следил, чтобы никто не был казнен по ложному доносу и чтобы перед казнью обвиненным обязательно предоставляли возможность раскаться и принести символическую жертву перед алтарем, посвященным гению императора. Говорят даже, он в некоторых случаях позволял сторонникам этой секты лишь заявить о своей готовности принести такую жертву и не требовал исполнить того на деле.

Завершил свою жизнь Марк Аквилый Корвин в Вифинии. Именно по его инициативе проконсул этой провинции Гай Плиний Цецилий Секунд, более

известный нам как Плиний Младший, обратился к императору Траяну с вопросом, следует ли разыскивать христиан или лучше заниматься расследованиями лишь в тех несомненных случаях, когда есть формальный донос и от власти требуется действие. Именно Марк постарался вложить в письмо Плиния такую формулировку вопроса, которая подтолкнула бы императора к наиболее мягкому из всех возможных решений. И это ему удалось.

Филолог оставался секретарем Марка, пока не скопил достаточно денег, чтобы купить под старость небольшой домик в окрестностях Афин и пару рабов, которые бы ухаживали за ним.

Юст служил управляющим и при новом хозяине. Лишние рабы из дома Аквилеев были распроданы по окрестным хозяйствам вскоре после отъезда Марка, и в Южной Далмации лет через двадцать христианские общины были повсюду.

А Спутница... Спутница пролежала в заброшенном сорочьем гнезде все то лето, и следующую зиму, и еще одно лето, зацепившись за мелкий сучок. Ее оведали ветра и омывали ливни, но золото, как и любовь, не боится ни воды, ни ветра — ему стоит опасаться только человека. А потом Спутница однажды упала на землю, закатилась под камни, заросла травой, покрылась землей и забвением. Но не исчезла.

Ибо крепка, как смерть, любовь, и смерть крепка, как любовь, и под руку ходят они друг с другом. А покуда мы живы — с нами вера, надежда и любовь, трое их, но превыше прочих, сильнее и страшнее прочих — любовь. Не залить ее водам многим.

Октябрь 2016 — октябрь 2017,

Каменари — Москва — Каменари

notes

Примечания

«Он — случайное недоразумение, а другие так специально устроены»
(компьютерный сленг).

Гелиос — божество Солнца в греческой мифологии.

Эос — божество зари.

Борей и Нот — божество северного и южного ветров.

Октавиан Август — первый римский император, чей месяц рождения был назван в его честь. Собственно, Август — императорский титул, который в дальнейшем носили все императоры.

Тиберий и упомянутый далее Веспасиан — римские императоры I в. н.э.

Вителлий — один из претендентов в римские императоры, соперник победившего Веспасиана.

Батавы — германское племя, жившее на территории совр. Нидерландов.

В 70-м г. н.э. римское войско под командованием Тита (сына и наследника Веспасиана), подавлявшее иудейское восстание, взяло Иерусалим и разрушило храм.

Сулла — римский полководец, взявший Афины в 86 г. до н.э.

Перевод с латинского Н.С. Гинцбурга.

Иллирийцы — коренное население Далмации (прибрежной части совр. Хорватии и Черногории).

Аякс — один из героев Троянской войны, совершивший самоубийство.

Принцепс (первенствующий в Сенате) официальный титул римского императора.

Домашние божества древних римлян.

Сегодня Корчула в Хорватии.

Сегодня Задар в Хорватии.

Сегодня Хвар в Хорватии.

Сегодня Дубровник в Хорватии.

Библейское название домашних божков.

Библейское название Египта.

Сегодня Цавтат в Хорватии.

Дакия — область примерно на территории совр. Румынии. Рим многократно воевал с даками и в то время еще не захватил ее.

Сегодня Сплит в Хорватии.

Перун — славянское божество грозы.

От Гибралтара до Черного моря.

Германские племена, вторгшиеся в Италию во II в. до н.э.

Сегодня Франция и Бельгия.

Сегодня Марсель. Протис — легендарный греческий мореплаватель, высадившийся на этих берегах.

Перевод с латинского С.А. Ошерова под ред. Ф.А. Петровского.

Колхидская царица и возлюбленная Ясона, которая убила двоих своих детей.

В «год четырех императоров» (68-69 гг.) в ходе гражданской войны в Риме сменилось четыре правителя.

Балтийское море

Советский тяжелый танк 1939-1942 гг.

Диалог Платона, посвященный любви.

Война Балканского союза с Османской империей в 1912-1913 гг.

Горный массив в Черногории.

Мятежники в Иудее, боровшиеся с римской властью.

Дионис, Добрая Богиня, Митра — широко почитаемые в Риме божества, их культы включали в себя таинства, куда не допускались непосвященные.

Албанец.

Сегодня Херцег-Нови в Черногории.

Рагуза — сегодня Дубровник в Хорватии. В те времена в городе в основном говорили на местном диалекте далматинского (романского) языка.

Которский залив в совр. Черногории.

Флаг (в т.ч. военно-морской) Испании в те времена.

Сегодня Котор в Черногории.

Сегодня Пераст в Черногории.

Братишка, приятель (*тур.*).

Традиция бросать на рассвете 22 июля камни в море у острова, на котором стоит церковь «Госпожи на скалах», чтобы расширить его поверхность.

Господин (*тур.*).

Серебряная монета примерно в два грамма.

Ирано-таджикский поэт XIII в., принадлежавший к исламскому течению суфиев.

Свидетельство о вере в Единого и в Мухаммада как Его посланника. Произнесение шахады означает принятие ислама.

Житель Боки (Которского залива).

Слава Аллаху (*араб.*).

Территориальная единица в Османской империи.

Официальное название инквизиции.

Исламский судья.

Богатый дом.

Обязательная последовательность слов и действий при молитве в исламе.

Перевод с латинского С.В. Шервинского.

Один из городов в Галилее.

Отрывок из библейской Песни Песней на древнееврейском языке.

Сегодня Рисан в Черногории.

Вольноотпущенники обычно становились клиентами тех, кто даровал им свободу, — лично свободными людьми, которые были связаны тесными узами со своим патроном и оказывали ему услуги. Такие люди составляли клиентелу своего патрона.

Один из городов римской провинции Македония (на территории совр. Республики Македония).

Крупный город в римской провинции Македония (на территории совр. Греции), где апостол Павел впервые проповедовал христианство на территории Европы.

Город на юге Франции, где в XIV в. находилась резиденция римских пап.

Перевод с итальянского Е.М. Солоновича.

Традиционная католическая последовательность молитв, читаемая по четкам.

Сербский царь XIV в., завоевавший значительные территории.

Римский полководец, взявший Карфаген (столицу враждебного Риму государства) во II в. до н.э.

Юная наложница, которую Ахиллу пришлось отдать царю Агамемнону — с этого начинается цепочка событий, описанных в «Илиаде» Гомера.

Сегодня Эдирне в Турции.

Сегодня Шкодер в Албании.

Австро-венгерский император.

Виднейшие католические богословы.

«Вавилон и Библия» (нем.).

к.и к. — «императорских и королевских» (сокращенное обозначение на немецком).

«Объединенными силами» (*лат.*) — девиз Австро-Венгрии.

Благослови, душа моя, Господа... и все, что внутри меня, имя святое Его (др.-евр.).

Римское право предусматривало разные варианты отношений между мужчиной и женщиной, которые сильно различались по правовому статусу.

Эсхил — древнегреческий трагик, Аристофан — комедиограф.

Сегодня Дунай.

Поликрат — тиран Самоса (VI в. до н.э.), который, согласно легенде, выбросил свой перстень в море, но вскоре перстень был извлечен на его кухне из желудка пойманной рыбы.

Да здравствует Франция! Да здравствует император! (*франц.*)

Сегодня Херцег-Нови в Черногории.

Фруктовая водка.

Взвод.

Гамлиэль, или Гамалиил, — авторитетный иудейский богослов I в. н.э.

Шаммай и Гиллель (дед Гамлиэля) — авторитетные иудейские богословы I в. до н.э. — I в. н.э. Шаммай славился строгостью своего подхода, а Гиллель — сравнительным свободомыслием.

Ешуа — еврейский вариант имени Иисус, Машиах — «Помазанник» (на древнегреческом это слово звучит как «Христос»).

Один из иудейских мудрецов того времени.

Римский праздник, на котором рабы временно занимали место господ.

Владелица конобы (кафе).

Русский охранный корпус (нем.).

Римский полководец, потерявший три легиона в битве в Тевто-бургском лесу в 9 г. н. э.

Официальное обращение к римским гражданам.

Перевод с испанского А.М. Гелескула.

Процедура освобождения раба.